

Дети Ра

журнал поэзии

6 (211)

2024

Международный журнал поэзии Союза писателей XXI века

Дети Ра

Сайт журнала <http://www.detira.ru>

ИЗДАТЕЛЬ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
(Генеральный директор Евгений Степанов)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Александр Файн
Зураб Церетели

РЕДАКЦИЯ

Евгений Степанов (главный редактор)
Анна Романюк (1-й заместитель главного редактора)
Юрий Милорава (заместитель главного редактора)
Ольга Ефимова (редактор отдела поэзии)
Фёдор Мальцев (редактор отдела критики)

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Алексей Александров (Саратов)
Юрий Беликов (Пермь)
Сергей Бирюков (Москва)
Александр Давыдов (Москва)
Константин Кедров (Москва)
Евгений Минин (Иерусалим, Израиль)
Арсен Мирзаев (Санкт-Петербург)
Юрий Орлицкий (Москва)
Сергей Попов (Воронеж)
Евгений Харитонов (Москва)
Атнер Хузангай (Чебоксары)
Элана (Саратов)

Автор обложки — Мария Губарь

Компьютерная верстка — Ирина Ракитина

Телефон редакции: тел./факс: (495) 978-62-75

E-mail: stepanovev@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ.....	5
-----------------------	---

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА НА КАРТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ

Андрей ИВОНИН. Из книги «Простые вещи». Стихотворения	6
Максим ЛАВРЕНТЬЕВ. Чаша цукуты. Стихотворения	12
Александра КРЮЧКОВА. От начала начал. Стихотворения	16
Евгений МИНИН. Хотелось, чтоб это случилось когда-то. Стихотворения.....	26
Марина МОСКАЛЕВА. В мире ты не одинок. Стихотворения.....	28
Виктория МАМОНОВА. Речевые портреты. Стихотворения	32
Евгений СТЕПАНОВ. Из лучших побуждений. Стихотворения	34

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Дмитрий АРТИС. То здесь, то там. Стихотворения	38
Марк РОЗОВСКИЙ. Пора Макбета. Стихотворения	46

ПРОЗА ПОЭТА

Юрий КАЗАРИН. Немтырь. Думающий стихи. Роман.....	49
---	----

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ. Сентябрь–октябрь 2024 года.....	94
---	----

ЛИТОБОЗ

Павел ЩЕРБАКОВ. Обзорение литературных журналов	98
---	----

NOTA BENE: КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ БИРЮКОВА

Прочитанные книги:

Татьяна Михайловская, «Снежное нежное»;

Без муз. Футуристы в нижегородском сборнике 1918 года. (Репринтное воспроизведение, исследования и комментариев) / сост. и науч. ред. А. А. Россомахин. 100

РЕЦЕНЗИИ

Книги читали:

Ольга ЕФИМОВА (Алексей Пурин, «Астры»)

Павел ЩЕРБАКОВ (Пётр Гулдедава, «Дневник надежд и сожалений...»)

Ольга ЕФИМОВА (Андрей Ивонин, «Простые вещи») 102

Уважаемые читатели и коллеги!

Мы завершаем литературный сезон.

В вас в руках последний за 2024 год номер журнала «Дети Ра».

Я очень рад, что в этом году мы активно и плодотворно сотрудничали с творческой молодежью.

Рад, что мы печатали и наших постоянных авторов.

Надеюсь, и в будущем мы удивим вас интересными произведениями.

С наступающим Новым годом!

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Андрей ИВОНИН

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ КНИГИ «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

* * *

Услышать сквозь щемящий ветра свист,
как падает на землю желтый лист,
как дождь стучит по клавишам негромким
древесных крон, и музыка дождя,
соединив в себе все эти до и ля,
звучит в ветвях отзывчивых и ломких.

Увидеть, сидя в комнатном тепле,
как оставляет влага на стекле
прикрытого окна следы отметин
небесных струй, скользящих под углом;
как зыбкий мир за стынувшим стеклом
уже почти невидим, незаметен.

Почувствовать внезапно, что и ты —
посильный отзвук этой темноты.

ГЕОМЕТРИЯ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА

Пол. Потолок. Четыре стены.
Геометрия замкнутого пространства
без надежды на выход. Чувство вины
за то, что не сбылось, за постоянство

Андрей Ивонин — поэт. Родился в 1959 году в Москве. Член Союза Театральных Деятелей РФ. Почетный работник культуры г. Москвы. Член Союза писателей XXI века с 2021 года. Стихи пишет с юности. В 1984 году занимался в литературной студии под руководством писательницы, прозаика, поэта и переводчика Ольги Ивановны Татариновой. Является членом секции поэзии Московского союза литераторов. Публикации в литературных журналах и альманахах. Лауреат Большой Международной Литературной Премии «Серебряный стрелец» (2011 г.), национальной литературной премии «Поэт года» (2016 г.), 7-й Международной поэтической премии «Образ» (2019 г.). Автор сборников стихотворений: «Слово» — 2008 г., «Начало» — 2015 г., «Повторенье пройденного» — 2018 г., «Говори со мной» — 2019 г., «Только стихи» — 2021 г., «Простые вещи» — 2025 г.

памяти долгой как жизнь. Любой
скажет, впрочем, что все это блажь, пустое.
Сублимация сна в совершенно конкретную боль.
Но даже она терпима и вряд ли стоит
твоего внимания, заострённого на
узкой полоске света на вертикали
задернутых штор, ведь только она одна
и имеет какой-то смысл. Да и то, едва ли.

* * *

Жизнь держится порукой круговой
на смене вех, на линии кривой,
проложенной из пункта А в пункт Б,
на некой тонкой внутренней резьбе,
на памяти, закрученной в спираль
сознания, где каждая деталь
подогнана, подробна и крепка,
как атомы молекул ДНК.

Она прозрачна и легка, как пар,
как вдох и выдох, как воздушный шар,
что рвется ввысь упруг и невесом,
на неразрывной нити хромосом,
соединяясь с небом, растворяясь
в глухом пространстве, продолжая связь
предметов и событий, лет и зим,
наполненных дыханием моим.

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Простые вещи: стол,
трёхногий табурет.
В сковороде скворчит,
томясь, картошка с луком.
Газета на столе,
окно и тусклый свет
над нежилой землей,
над озером и лугом.

А там, где горизонт,
за лесополосой —
заброшенный погост,
железная ограда.
И в голове звенит
назойливой осой,
что больше ничего
от вечности не надо.

В ТОМ ВРЕМЕНИ

Марине

В том времени, не знаю сколько дней
живущем только в памяти моей,
закрыв глаза, я вижу наши лица.
Свет ночника струится в темноте,
и синим пламенем на газовой плите,
горит огонь, и чайник кипятится.

Там есть два стула, зеркало, кровать,
с которой нам не хочется вставать,
пружины всхлип, и лающие глухо
дворовые собаки за окном,
и высоко, под самым потолком,
невесть откуда взявшаяся муха.

Дымится кофе в кружке жестяной.
На мне кусачий свитер шерстяной.
И это ли не счастье в полной мере,
когда я отпираю дверь, и ты,
божественной не пряча наготы,
выходишь проводить меня до двери?

Пусть все останется как было, как тогда,
в те памятные, прежние года,
где мы еще так молоды. Пусть бьется
настойчивая муха о стекло,
хотя давно то время истекло,
закончилось и больше не вернется.

* * *

Со временем бывшая пустота
наполнится вдруг воздухом, дыханьем,
прикосновеньем рук, сердцебиеньем,
и новой дивной музыкой. А та
в себя впитает шорох и цветенье
травы, деревьев, птичий щебет, цвет
закатных облаков. И будут слух и зренье.
И будет свет.

* * *

...и этот свет небесного огня,
как острый нож проходит сквозь меня,
приотворяя будущего бездну.
И всё, что было лишнего во мне,
преображается в спасительном огне.
И верится, что весь я не исчезну,
а стану лёгким облаком, травой,
водой колодезной — субстанцией любой,
и кровь моя вновь потечет по венам
земных дорог, и свет далекий тот
во мне ответным эхом оживет,
и прорастёт в стерне зерном нетленным.

ТЫ РЯДОМ

Немеют пальцы рук на холоде.
От слякоти бросает в дрожь.
Ты где-то рядом в этом городе
смеёшься, хмуришься — живешь.

Глядишь, как дождь косыми струями
стекает вниз с покатых крыш.
Под изморосью, как под пулями
под стареньким зонтом стоишь.

Вдыхаешь грудью воздух масляный
гниением тронутых аллей.
И день дождливый, серый, пасмурный
чуть-чуть становится светлей.

А может в кофточке залатанной,
укрывшись будто пледом, мглой,
в глубоком кресле, поздно за полночь,
сидишь с наперстком да иглой.

А я, пусть тучи в небе грудятся,
слепой покорствуя судьбе,
шагаю по безлюдным улицам,
стихи слагая о тебе.

ПРОВОДНИК

За зыбкой тенью вслед,
за спутником ночным,
по краю неба — нет —
по узким мостовым,

в предел иных миров,
в дремотный полумрак,
на звук твоих шагов
идти за шагом шаг.

Пусть город крепко спит,
густеет ночь, увы —
веди меня, мой гид,
по улочкам Москвы.

По закоулкам лет,
приметам той поры.
На окон жёлтый свет,
сквозь старые дворы.

Пусть длится этот миг,
 грядущее кроя.
 Мой друг. Мой проводник.
 Моя сестра. Моя...

* * *

В два часа ночи,
 у закрытого метро,
 с разрядившимся телефоном,
 без копейки в кармане
 ловить такси,
 умирая от счастья.

СЧАСТЬЕ

День угасает.
 Ещё один круг.
 Голосом, легким
 касанием рук
 прошлое стерто —
 было и нет.
 В окнах, смотри —
 зажигается свет.
 Падает, льется,
 струится дугой.
 Следую рядом,
 иду за тобой.
 Сердце заходится,
 будто лечу.
 Вот оно — счастье,
 бери не хочу.

Максим ЛАВРЕНТЬЕВ

ЧАША ЦИКУТЫ

* * *

В краю, где протекает Озерна,
ты время ценишь меньше, чем покой,
и мысль, что скоро может быть война,
здесь кажется абсурдной чепухой.

Здесь к берегу подходит хвойный лес,
кругом грибной и земляничный мыт.
Пожалуй, лишь антенна РЛС
немного портит первобытный вид.

Здесь ходишь голый, словно Аполлон,
потом в тени переживаешь зной,
июльским солнцем в меру опален,
чтоб не равнялся с богом белизной.

Переживаешь, вдруг вопьется клещ —
теперь он частый гость на Озерне.
А что война? Бессмысленная вещь,
противная и небу, и земле.

2024

* * *

Много книг я мудреных прочел,
но гораздо мудрее, чем книги,
этот берег, жужжание пчел,
эти заросли спелой черники.

Все в природе само по себе
 нарушает людские каноны,
 но изящней листок на грибе,
 чем изгибы в скульптурах Кановы.

И хоть бора сосновый концерт —
 какофония скрипа и хруста,
 в нем отсутствуют ложный концепт
 и натужная прелесть искусства.

2024

* * *

Лесная поляна. Повсюду валяется пластик.
 Мангал под березой оставил какой-то утырок.
 О мощном аккорде, которым закончился праздник,
 нетрудно судить по количеству битых бутылок.

Я плюнул в сердцах и выдумывать страшные казни
 для пьяного быдла отправился дальше по тропам.
 Я чувствовал, что становлюсь все светлей и прекрасней,
 при этом в душе оставаясь, как был, мизантропом.

На птичку отвлекся, пошел, вспоминая о разном,
 вздыхая о бренности мира лирично и томно.
 Удобно устроен, друзья, человеческий разум!
 Толково устроен, добротнo, железобетонно!

2024

ГРЕЦИЯ

Не ждет сигнала туча грозовая,
чтоб устремить дождя потоки вниз,
и журавли летят, не признавая
Эллады исторических границ,
и дикий мирт, растущий в мелкоколесье
на склоне у Кастальского ключа,
не помнит ничего об Ахиллесе,
о торжестве ахейского меча.
Молчат о прошлом каменные гроты.
Кругом раскрылись миллионы глаз,
но почему-то мутный взгляд природы
всегда скользит куда-то мимо нас,
как будто мы — иллюзия, химера,
фантомы, не способные понять,
что и без нас, и без поэм Гомера
прекрасно может мир существовать.

2024

СОКРАТ

Доволен своей антитезой,
побиться готов об заклад:
был юным плутом и повесой
великий мыслитель Сократ.
Не зная про виды либидо,
влечений в себе не душил,
ничуть не боялся Аида
и с Бахусом крепко дружил.

Увы, ни в одном диалоге
не пишет об этом Платон.
Сократ изменился в итоге,
но это случилось потом.
По славным последствиям судим,
как весь развивался процесс —
философ и в старости к людям
живой проявлял интерес.

А тот, кто был в ссоре с весельем,
 кто с детства скулил и брюзжал,
 кто солнечным утром весенним
 проснувшись, шалить не бежал,
 кто не испытал ни минуты
 в вине и в любви забытья,
 тому выпить чашу цикуты
 могу посоветовать я.

2024

* * *

Достоинств немного у шутки невинной.
 Конечно, в искусстве гораздо культурней
 с унылой и кислой трагической миной
 все время стоять на высоком котурне.

Насмешки в поэзии — те же улики,
 случалась от них неприятностей масса.
 Но нет, не должно быть стихов без улыбки,
 когда у поэта лицо, а не маска.

2024

Александра КРЮЧКОВА

ОТ НАЧАЛА НАЧАЛ

ЭТАЖИ

Небо, скажи:
я прошагала здесь все этажи
невзаимности?
Или...
Богу угодна я
только свободная?
Мне не до схимности —
сжался, смотри:
тосклива и Осень —
Солнца — на 33,
а ей — 48.

21 августа 2024

ПРИЗНАНИЕ ЕВЫ

В сердце надежды
последней Ассолы —
Змея.
С каждым закатом
седеет от соли
Земля.

Александра Крючкова — поэт и писатель-мистик, лауреат международных премий в области литературы, государственный стипендиат в категории «выдающиеся деятели культуры и искусства РФ». Член Союза писателей России (с 2009), Союз литераторов России (2010–2013), Российского авторского общества, Союза писателей XXI века (с 2011), Международной гильдии писателей (Германия, 2011–2015), Международной Ассоциации Граждан Искусства «М. А. Г. И.» (Испания, с 2009), регионального общественного Фонда содействия развитию современной поэзии «Светоч» (с 2007), Открытого Литературного Клуба «ОткЛиК» (с 2008) и др. Автор многочисленных книг. Лауреат премии «Писатель XXI века». Живет в Москве.

Дети все чаще
 родятся из чрева
 капуст.
 Пятясь на Запад,
 призналась мне Ева:
 Рай — пуст.

Время — страж-ключник,
 ответом к задачке, —
 Адам! —
 Все, что осталось
 от жизни в заначке,
 отдам...

24 сентября 2024

ДВА ЗЕРКАЛА

Два зеркала, влюбленные взаимно,
 висят напротив, — это ли печалька?
 с гвоздей сорвутся — бросятся навстречу,
 осколками, но все-таки коснутся
 друг друга страстно, с жаждою предсмертной,
 устав мечту откладывать на завтра...

01 февраля 2024

ДА

Море стирает морщины с лица...
 Сняв крест,
 Я заблудилась в Созвездье Стрельца.
 Жизнь — квест.

Завтра приедешь осенне молчать,
 Ткать сны.
 Хочешь, я в паспорт поставлю печать
 Весны?

Скажешь, вздыхая, правдиво на треть:
«Звезда!»
Хочешь плыть вместе, чихая на Смерть?
Я — да...

29 августа 2024

МОСТ МАРТА

от Начала Начал
предначертан
 путь Завтра:
перекрестки туманных миров
 Говарда
 Лав-
 Крафта,
даты дворцовых пиров,
звездочетов-волхвов
 карта,
восхождений
 спираль,
постановки
 на сцене
 театра,
совместимость имен,
однозначность знамен,
очередность времен,
мечь
 марта, —
мой апрель в твой февраль
нагло вторгся — завис
на холсте черно-белом,
а я — цветочная!
 юная!
 дерзкая!
ведьма?!
 круг — мелом!
за чертой —
пустота — красота?

в переплет —
 чушь
 несусветная! —
 полон любви —
 хватит на всех! —
 мой кораблик
 бумажный
 средь
 льдин! —
 кружит один —
 грех! —
 боль офсетная
 зельем вскипает
 и булькает,
 рвется наружу —
 ожог в стужу!
 ох, ух! —
 мозг глух,
 вместе с бабюльками
 точат ножи
 разума миражи
 пересудочно:
 веком просрочен! —
 в роман
 опоздала — на все 100! —
 вокзалов,
 знаковых и не очень,
 а люблю —
 незабудочно!
 скажи?
 но ты —
 тень —
 в тишь,
 тонешь — молчишь...
 зри — зрей!
 нет якорей
 в матрице пятницы —
 явь пятится
 в сон ниш,

рыцарь — под панцирь
привычной норы,
лишь
звезда
над вершиной Горы
падает снова с небес —
да!
наперекор!..
в разрез!..
сердцем — в сачок! —
к тебе! —
пустячок?!
ждет
не собранный рюкзачок:
с кем прочь?
в день?
в ночь?
обручены?
обречены
след в след?
в плен?
в плен?
сжался билет,
тщетно старание —
Вселенская вотчина
вдоль-поперек
на машинке
крест-накрест
прострочена
Богом заранее!
воздух в прогнозах
морозно-мимозен —
зима озабочена! —
в метель —
наотмашь, с петель,
слетела
обиды пощечина —
Творец не серьезен? —
свыше хранимые,
девочки — хрупкие,
слишком ранимые!

весен в заначке — пятак,
 а снег — коматозен!
 впрочем, нет-нет,
 не так! —
 с правом на вето:
 тьме — свет!
 курс — в лето!
 за борт Галактик —
 печаль!
 я — остров сокровищ,
 причал!
 от Начала Начал
 предначертан
 путь Завтра:
 перекрестки туманных миров
 Говарда
 Лав-
 Крафта,
 даты дворцовых пиров,
 звездочетов-волхвов
 карта,
 восхождений
 спираль,
 постановки
 на сцене
 театра,
 совместимость имен,
 однозначность знамен,
 очередность времен,
 мой апрель,
 твой февраль,
 месть? (нет, зачеркнуто),
 мост
 марта...

04.02.2024

40 СЕКУНД НАЗАД

40 секунд назад
я влюбилась в твой лайк навек,
вышла из всех берегов
эфирно-небесных рек,
чтобы сейчас посметь
ветром разок обнять, —
поздно плодить врагов,
Время — давно понять,
что смерч —
 это еще не смерть,
но смерть —
 это уже не ад —
я влюбилась в твой лайк навек
40 секунд назад...

* * *

Тает заложник созвездий и войн,
нищих годов-реприз.
Небом сплетенной в каскады из волн
ветер — уже не приз.

Зреет последний обратный билет,
карты из снов — на стол.
Я похудела на 10... Лун? — лет! —
а ты замолчал на 100...

* * *

Снова стихи — на пост:
вечно прописан со мной
в белой стране страниц —
нет ни гробниц, ни Ницц,
даже границ
там нет...

Мне же — лететь в рассвет,
тая Луной
след в след,
в терем земной —
погост...

10 августа 2024

ДВА КРЫЛА

Под вечер в деревню приходит Вина,
Садится меж нами в заморском шато.
Меня отпоют здесь цикады, жена —
Тебя, но Любовь — не посмеет никто.

Ты знал, поглотивший две смерти за миг,
Спаситель обеих, хранитель, наш страж,
Что взгляды любимых — мощнее улик,
Но все мы — всего лишь мгновенный мираж.

Мне Солнца не хватит, а Луны — к беде,
Я жизнь отдала бы за нежность, мой друг!
Одно из двух крыльев оставив тебе,
Шепнула, прощаясь: «Попробуй — а вдруг?»

Но в полночь у Башни — все тот же Монах,
Когда-то встречались мы с ним на заре,
А позже, над морем житейским во снах,
Мечтал он без горя причалить к Горе.

Ему протянула второе — пора...
Крестила, вздыхая: «Там справа — плато...»
Меня отпоют здесь цикады, Гора —
Его, но Любовь — не посмеет никто.

27 июля 2024

ВЫШИВКА

Тучи над тропами
в сети рыбацкие
плыли поврозь...
Между Потопами
звезды Арбатские
в Небо забрось!

Смирной и ладаном
встречу меж битвами —
первым из ста! —
в сердце разгаданном
вышьешь молитвами
душу Христа?

05 апреля 2024

NB. INFINITY

Зажги — не сдерживай порыва! —
Свечу!
Даст Бог, бескрылая, с обрыва
Взлечу?

Взлечу! — погибшая от жажды
И ран! —
Даст Бог, венчает нас однажды
Уран.

* * *

Все мы встречались с собою когда-то
 На дне.
 В Лете утонет минута, но дата —
 Над ней.

Тучи балкуют, дежурит у двери
 Дождь — грусть.
 Я — бесконечна, и — веришь-не веришь —
 Дождусь!

30 августа 2024

P.S. ЖИВАЯ

В каждом встречном ты видишь мои глаза,
 В каждом взгляде читаешь мою судьбу.
 Улыбнись, как и сотню веков назад, —
 Ты молчишь, но я слышу твою мольбу.

Не страшны ни дожди, ни ветра, ни гроза, —
 Я дышу, прорастая в скале травой.
 Я люблю, как и сотню веков назад,
 Оставаясь из всех самой-самой живой.

15 августа 2024

Евгений МИНИН

ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ КОГДА-ТО

РАЗВЕ МОЖНО...

Разве можно жить с теми,
для кого твоя радость —
горе?

Разве можно жить с теми,
для кого твое горе —
радость?

Разве можно жить с теми,
для кого твоя жизнь —
помеха?

Разве можно жить с теми?

Это для тех, кто не в теме...

ХОТЕЛКА

Хотелось, чтоб это случилось когда-то,
В тысячелетии, может быть, пятом:
Не стало заборов, границ и оградок,
И климат земной привели бы в порядок.
Общаться в стихах наступил бы обычай,
Язык изучили кошачий и птичий,
Чтоб счастье у каждого жило под кровом,
А слово «война» стала матерным словом.

Евгений Минин — поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

* * *

Порою смотришь вслед себе,
 Уставший, словно после спора.
 Уже макушка в серебре,
 Уже на тросточку опора.
 Обманут был, что не беда.
 А вот обманывался часто.
 И, может быть, большое счастье —
 Не знать об этом никогда.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Всевышний глянул вниз
 и подал грустный глас:
 — Простите все за то,
 что я прощаю вас!

Марина МОСКАЛЕВА

В МИРЕ ТЫ НЕ ОДИНОК

* * *

Синие горы и синие реки
Больше не те, навсегда не те:
Принцесса осталась одна навеки —
Рыцарь вернулся к ней на щите.

Кружит ли где-то дракон кровавый,
Тролли ли прячутся в темноте,
Рыцарю больше не надо славы —
Рыцарь лежит на своем щите.

Нету конца погребальной мессе —
Старый священник не слишком скор.
Как бы хотелось сейчас принцессе
С башни шагнуть на мощный двор.

Чтобы несли, спотыкаясь, слуги,
Чтобы давила сердца тоска.
Чтоб волочилась, упав с дерюги,
Боготворимая им рука.

Синие реки, леса и горы...
Вот и попали вы под запрет.
Выдадут замуж принцессу скоро,
К ней уже сватался баронет.

Будет принцесса в каминном зале
Долгую зиму переживать.
Львов с голубыми, как сны, глазами
В память о рыцаре вышивать...

* * *

Как удобно любить нарисованный дом:
В нем детей поселить, тех, что будут. Потом.
И друзей всех за стол усадить во дворе.
И решить, что лет сто мы не будем стареть.

Нарисованный дом — он не так уж и прост:
В нем живет твой ушедший на радугу пес.
И принцесса твоя в белом платье простом
Сохраняет любовь, что вошла в этот дом.

Как удобно любить нарисованный мир.
Просто провозгласить, что он лучше квартир.
Жить в свободном полете, сегодняшним днем.
А принцессу светло вспоминать перед сном.

Не имеют хождения там ревность и злость,
Всем погибшим друзьям в доме место нашлось.
И принцесса твоя в синем платье простом
Застилает им стол домотканым холстом.

В этом доме не властны обиды и страх.
Ты у моря представишь его и в горах.
И на склоне, где воздух прозрачен и чист,
Упадет на крыльцо багровеющий лист.

Но однажды неверный ты сделаешь шаг,
И, вздохнув, твое тело покинет душа.
И принцесса твоя в черном платье простом
Затворит эту дверь и рассеется дом...

* * *

И всегда же кажется — это в последний раз.
И всегда же думаешь: все под контролем. Да!
И зависеть от выражения чьих-то глаз
Не хочу, не буду. Конечно же! Никогда!

Не старайся напомнить мне то, что мир жесток.
Я ведь просто люблюсь, как тает на реках лед.
Разжимаю ладонь и смотрю, как летит платок —
Без надежды, что его кто-нибудь подберет...

Я ведь просто смотрю с утра на поля в росе.
Не пытаюсь бежать и не принимая бой.
А угроза потери, которой пугают все, —
Это плата за то, что твой человек с тобой.

* * *

Тает цветной салют
В сумрачных облаках.
Как я его люблю
Этого дурака!

Как я давлюсь тоской,
Как я лежу без сна,
Как по башке доской
Всем нам дает весна!

Скрипом его дверей,
Запахом сигарет,
Утро меня согрей,
Утро, пролей мне свет.

Косу сверну в петлю,
Локоны — по бокам.
Как я его люблю
Этого дурака...

СЕЗОННОЕ ОВОЩНОЕ

Если осенью тебе кто-то тащит кабачок,
Значит, ты не одинок! В мире ты не одинок.

Человеком неспроста может овладеть тоска,
Если осенью никто не подарит кабачка.

Сядь и репу почеши. И подумай, как ты жил:
Растерял своих друзей, кабачка не заслужил.

Но, хоть ты и виноват, никогда не унывай:
Сей на даче кабачки и друзьям их раздавай.

Если есть, кому тащить толстокожий кабачок,
Значит, ты не одинок! В мире ты не одинок!

Виктория МАМОНОВА

РЕЧЕВЫЕ ПОРТРЕТЫ

ПЕСНИ НЕБА И ЗЕМЛИ

Шар зеркальный голубой
претворяется в простор, разливается в покой вод озерных и ручьев,
а внизу летит поток сверхвоздушных душ людских,
ангельских, иных.

Кто измерит до конца чашу сердца и ума?!
Необъятная любовь вызревает между снов, совершенных и пустых,
поднимает жаркий щит;
обезличенность дрожит в свете ночи, в мраке дня, чья просодия одна.

Глас небесный, хор земной,
где преграда и порог разделяют хоровод свойств извечных и немых,
нас встречает сводный лик
тех, кто сгинул в глубине или выветрен в весне, тех, кто в нас стоит...

Везде — шелестящие слои, шар зеркальный их двоит;
кадыки растущих гор — под асфальтовой корой да тяжелые цветы —
песни неба и земли.

ПЕРЛАМУТР

Речевые портреты — барочные парики, сметы, монохромы в полный рост —
 проступают через облачный дым голосов;
 глоссы для освещения восторга и таинства,
 босоногой тишины, прохладного волнения и пряных августовских плодов
 скользят от пауз и жестов до эмоционального рисунка шагов.
 Многослойный образ проникаем другим насквозь
 — и вопреки — осяян его принятием:
 речевой портрет подобен объятию говорящего —
 луговой донник и лимонная мята или праздный мак и куриная слепота.

Речевые пейзажи — мелькающие за окном автоматизма буксиры и баржи
 вдоль равнинных монологов и отлогих споров;
 подробные речитативы:
 одни — смягчают, а другие — усиливают различия
 между цезурами восприятия в пегой апатии,
 если «о чем невозможно говорить...», несложно говорить обо всем подряд;
 говорящий речет: «я здесь» —
 это и есть сообщение, расширенное до речевого пейзажа, остальное —
 жмых.
 Способы сближения объектов «не замечают» объектов самих по себе.

Речевые коллажи — метрономы долженствований и стражи вины и стыда:
 достоверность отсрочена;
 слова, скованные в своем темпе и движении на обочине смысла,
 слова, отвлекающие внимание от скоморошья слов, сказанных всерьез:
 ранний покос умиротворяет буйных и рьяных, как пост.
 Буквальное прочтение семантических тупиков приводят героя к знаку
 «авось»,
 где «сеял — не смерил» открывает бурлеск,
 там «стерпится — слюбится» выглядывает из bestiaria алчных существ:
 «Ну что, вы озираетесь — такие же окрест?!»

Евгений СТЕПАНОВ

ИЗ ЛУЧШИХ ПОБУЖДЕНИЙ

И Т. Д.

Животные
часто похожи на людей.

Люди
часто похожи на животных.

Победа
часто похожа на поражение.

Поражение
часто похоже на победу.

Живые
часто похожи на мертвых.

Мертвые
часто похожи на живых.

2024

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и координатор портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

Я НЕ ХОЧУ ВЫХОДИТЬ ИЗ СОБСТВЕННОГО ДОМА

Один грамм ненависти
весит больше, чем 100 килограммов любви.

Слово большее,
чем удар по лицу.

Я не хочу выходить из собственного дома.
2024

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Отвратительный телевизор.
Умопомрачительный смартфон.
Мракобесный интернет.

И т. д.

Из лучших побуждений
человечество
само себе
надевает удавку.
2024

ОДНО И ТО ЖЕ

Платная рыбалка,
охота
и убийство безоружного человека —
это для меня одно и то же.
2024

КОШКА МОЯ ЛЮБИМАЯ МОНРО

Кошка моя любимая Монро
принесла мне пойманную мышку-полевку на кухню,
поделилась добычей,
чтобы я не умер с голоду.

Заботится обо мне,
любит меня,
почти как своих котят.

Тысячу раз просил ее
не приносить мне мышей —
я их не ем.
Да и жалко мне мышек.

Но кошка свое дело знает туго.
Ее материнский инстинкт
отменить невозможно.

2024

СТРАХ

участвую
выступаю
провожаю
организовываю
публикую
публикуюсь
мелькаю в прессе
напоминаю о себе
получаю лайки в социальных сетях
короче
боюсь остаться наедине с самим собой

2024

ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ЭТОМУ МИРУ

Человек родился.
 Рос, рос и вырос.
 И стал думать:
 — А чем я могу быть полезен этому миру?
 Думал, думал. И ничего не придумал.
 Просто жил и работал.
 Любил жену.
 Растил детей и внуков. Мечтал о правнуках.
 Строил дом.
 Сажал деревья (а не людей).
 Помогал родным и близким.
 Кормил котов и собак.
 Не хватал звезд с неба.
 Когда было хорошо — радовался.
 Когда было плохо — плакал.
 И все время думал:
 — А чем же я могу быть полезен этому миру?
 И, даже умирая, думал об этом.
 В Раю ему сказали:
 — Спасибо. Ты сделал все, что мог. Ты хорошо выполнил свою работу.

2024

Дмитрий АРТИС

ТО ЗДЕСЬ, ТО ТАМ

* * *

Дневник добровольца
есть на Литресе.
Можно скачать
электронную версию
за двести сорок девять
рублей.

Почему-то
поставили пометку,
что содержит
нецензурную брань.
Не содержит.
Война отбила охоту
материться.
Кому-то наоборот
прививает.
Но у меня так.

Минус алкоголь...
Выпить могу,
но через силу.
Желания нет.
Минус матерщина...
Ругнуться могу,
но через силу.
Желания нет.

Дмитрий Артис — поэт. Родился в 1973 году в г. Королёв МО. Окончил Российскую Академию Театрального искусства и Литературный институт им. А.М. Горького. По пьесам поставлены спектакли более чем в двадцати театрах по всей России и ближнему зарубежью. Печатался в периодических изданиях: «Дети Ра», «Зинзивер», «Другие берега», «Дружба народов», «Современная поэзия», «Российский колокол», «Литературная газета», «Южное Сияние» и др. Книги стихотворений: «Мандариновый сад» (изд-во «Геликон+», 2006 г.), «Ко всему прочему» (изд-во «Русский двор», 2010 г.), «Закрытая книга» (изд-во «Авторская книга», 2013 г.), «Детский возраст» (изд-во «КП ОГТ», 2014) и др. Член Южнорусского Союза писателей. Участвовал в СВО. Ветеран боевых действий.

На месте минусов
образовались плюсы:
шум в ушах,
здоровый сон
и тяжелая нога.

Шум в ушах
мне нравится.
Отделяет
от внешнего мира.
Будто бережет
от чего-то.
Шум уютный.

В детстве,
чтобы услышать море,
прислоняли к уху ракушку.
Сейчас у меня море в ушах
двадцать четыре на семь
без всяких ракушек.
Тональность только
чуть выше того,
что слышал в детстве.

Сон здоровый.
Я спокоен.
Настолько спокоен,
что во сне
забываю дышать.

Сон сократился.
С восьми часов
на пять-шесть.
Говорят, возрастное.
Чем дольше живешь,
тем меньше спишь.

Стараюсь
никуда не ходить,
чтобы не думать о ноге.
Я и раньше
никуда не ходил.

Потому что ленивый.
Но у меня не было
оправдания.
Теперь оно есть.

* * *

Едем на вечер памяти
поэта и воина Ивана Лукина
в Литературный институт
имени Горького.
Иван погиб два года назад
в мариупольском замесе.
Выехали пораньше.
Опаздывать не люблю.

Маршрутка, электричка, метро...
Чем ближе к месту высадки,
тем тяжелее твоя рука,
оббившая мою.

Ты вся в этой руке.
Стараюсь держать спину ровно,
не заваливаться набок.
Тебе нужна крепкая опора,
мне нравится быть ею.
Поэтому улыбаюсь.

В переходе с Тверской на Пушкинскую
музыканты поют советский рок.
Не останавливаемся,
идем слаженным шагом.
От нахлынувшей гордости за себя
подпеваю финальную фразу припева.
Громко, с завидной хрипотцой.

Отшатываешься.
Сперва смущаюсь.
Первая мысль о том,
что не попал в ноты и тебе неловко
держаться за человека, у которого
напрочь отсутствует слух.

— Кругом смерть! — кричишь, —
вы будете смотреть на фотографию
и говорить о смерти.
Парень погиб, молодой, красивый,
а вы будете читать его стихи.
Вы будете читать стихи парня,
которого нет.

Смущение ушло,
пришло изумление.

В ответ произнес что-то вроде того:
— Как это нет? Он есть. —
Обвел воздух руками.
— Вот он. Его можно увидеть.
Надо только внимательнее смотреть.
— Его нет, он погиб!
— Смерти вообще нет, —
в голос вернулась твердость, —
Ее придумали плохие люди
в надежде получить контроль
над хорошими.
— Ты дурак?
— Умных не существует, — улыбнулся, —
Их тоже придумали плохие люди
в надежде получить контроль
над хорошими.
— Ты точно дурак...
— За дураков земля держится,
и ты хватайся за меня, пойдем.
Опаздывать не люблю.

* * *

Давно это было,
когда меня еще не было.

Мама моя —
комсомолка, спортсменка,
как в те времена говорили
о самых лучших, —
устроилась на работу,
окончив техникум.

Начальник вызвал к себе
познакомиться
с новой сотрудницей.
Молодая, сказали, ретивая,
вот и вызвал.

Поговорили они о работе,
о личных проблемах.

Начальник выслушал просьбы,
сделал пометки в журнале
и попросил чаю, налить чаю.

Мама вспылила,
сказала, что не нанималась
чай подносить начальству,
что не прислуга, а молодые кадры —
будущее страны.

Начальник вздохнул,
встал из-за стола
и нетвердой походкой
к чайнику сам подошел,
налил себе кружку
и отпустил мою маму.

Давно это было,
когда меня еще не было.

Мама вернулась на рабочее место.
Чертежи, бумаги плыли в глазах,
линейки с карандашами
валились из рук.

С возмущением рассказала
старшим сотрудникам
о выходках начальника,
предположив, что выпивший:
«Как такое возможно
в советской стране!»

«Дочка, не пьющий он, —
тихо ответили маме, —
ноги свои потерял на войне,
ходит с трудом на протезах».

Мама через всю жизнь
пронесла чувство вины за тот случай
и незадолго до смерти
рассказала о нем, подытожив:

«Просят чаю,
налей, принеси,
не сломаешься, сын...»

Гордыни во мне столько,
что можно мешками
сто лет отгружать,
и не отгрузишь
малую толику даже.

Работаю над собой.
Просят чай принести,
иду, хромая, и приношу чай.

* * *

Иногда лежишь и думаешь, вот бы лечь.
Раздражаешься не по делу, но дел не ищешь.
В этом году небо такое сильное,
что земля кажется какой-то слабой,
опрокинутой набок, разуверившейся в себе,
шипящей от безысходности
на задворках вселенной,
прямо как ты.

* * *

Строю дом. Никогда домов не строил,
не жил в собственном доме.
Стопроцентный горожанин. Сызмальства.
Только предки по маминой линии деревенские.
Дедушка с бабушкой после войны
переехали в город.
Мама уже здесь родилась.

Незнаком с жизнью в частном доме.
Темный лес намного светлее.
Не знаю, откуда берутся вода, тепло, свет.
На чем дом стоит.
Из чего стены, пол, крыша.
Приходится днями просиживать в интернете,
чтобы хоть немного разобраться.

Забавно злюсь на себя.
Вроде мужик мужиком —
сморкнуться в руку умею,
а вот элементарных вещей не знаю.

К земле тянусь интуитивно.
По молодости предпочитал в облаках летать,
не чуя почвы под ногами.
Полеты удавались на славу.
Теперь хочется по земле походить.

* * *

Надо иногда отдыхать от новостей.
 Тем более, если не можешь влиять на них.
 Фронт в полторы тысячи километров,
 на которых нет ни одного сантиметра
 с курортной обстановкой.

В медийном поле
 волнообразное напряжение.
 То здесь, то там.
 На самом фронте —
 по всей линии —
 напряжение статично.

* * *

Это на фоне
 литераторов
 я выгляжу
 кровожадным
 монстром,
 а на фоне
 воюющих
 парней —
 вшивым
 интеллигентом,
 и ни с кем
 за своего
 не сойду.

Марк РОЗОВСКИЙ

ПОРА МАКБЕТА

* * *

Пришла пора мне оживить Макбета.
Обмажу кровью занавес и пол.
Все в красном. Лучше нету цвета
Для мокрой пьесы, кто ее прочел.

А в зале кто? Да только инвалиды,
На костылях пришедшие с войны.
На сцене взрывы, дымы, геноциды —
Им, инвалидам, эти игры не страшны!

Уже по трупам артиллерия хреначит,
Врага добитого нещадно сокруша...
Зачем Искусство, если ангел плачет
Над телом павшего в воронке малыша?!

* * *

Жизнь копеечки не стоит,
Смерть меня не беспокоит,
Если обе не мои...
Без меня идут бои.

Марк Розовский — драматург, режиссер, поэт, прозаик, художественный руководитель театра «У Никитских ворот», заслуженный деятель искусств РФ, Народный артист России. Родился в 1937 году в Петропавловске-Камчатском. Закончил факультет журналистики МГУ и Высшие сценарные курсы. Автор книг «Режиссер зрелища», «Дело о “конокрадстве”», «Изобретение театра» и др., пьес «Кафка: отец и сын», «Концерт Высоцкого в НИИ», «Триумфальная площадь» и др. Живет в Москве.

ЧЕРНИКА ГЛАЗ

Медсестрам наш восторг и ласка!
 Все помню — операционный стол,
 Чернику глаз твоих над маской,
 Когда ты делала укол.

Проснувшись, — снова твое личико.
 Опять черника твоих глаз...
 Не отходи, моя сестричка!
 Укол мне сделай еще раз!..

Готов всю жизнь в больнице этой
 Я с наслаждением лежать.
 Лица не видеть и без света
 Черты твои воображать.

МЫ УСТАЛИ ХОРОНИТЬ

Что ни день, то смерть приходит.
 Брысь, костлявая, отзынь!
 Пышно при любой погоде
 Ядами цветет полынь.

Сколько близких и неблизких
 Неродных мне и родных
 Попадают в эту чистку...
 Каждый день — удар под дых!

Мы устали не от плача.
 Мы устали хоронить.
 Как сказал еще Боккаччо, —
 Больше смейся — будешь жить!

ПОЦЕЛУЙ ПРИ БОМБЕЖКЕ

Неуместна любовь при крушении.
Но она всех крушений сильнее.
Жизни нет никогда завершения,
Если мы продолжаемся в ней.

Жизнь есть жизнь. В ней не все понарошке,
Дьявол слаб, наши души губя...
Славлю я поцелуй при бомбежке.
Смерть, ты — дура. И — нету тебя!

* * *

Скажу вам прямо, не тая,
Без всяческих затей:
Вам жизнь опять нужна моя,
Но мне она нужней.

Юрий КАЗАРИН

НЕМТЫРЬ. ДУМАЮЩИЙ СТИХИ

(Роман)

Продолжение. Начало в №№ 5, 6, 2023, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 2024

I. ДУША УБЫВАЕТ ЛЕГКО

За три года до развода, во время раздвоя семьи-семейки и через девять лет после суда, советского, самого смешного и ужасного в мире, — ты пил. Первый запой (три недели) произошел незаметно, второй был — прекрасен (ты — волен!), а третий объяснил тебе, дураку, простую вещь: ты, сука, запойный.

На втором стакане водки (первый был как пух от уст Эола) ты плакал (пил всегда, почти всегда один), на третьем тебя вытягивало из Урала и забрасывало то в Африку, то в Индокитай, то в Индию. Ты ставил пластинку, включал автовозврат четвертой (плохая цифра!) дорожки и слушал «Space» — «Magic Fly». Ну там, самолет взлетает... Действительно же ты сидел в боевом вертолете...

Пилоты-моряки: знают словечко «галс». Молодцы парни. Их часто сбивали. В плен они не шли — отбивались, и твоя группа, брошенная с вертушки, под прикрытием мигаря, спасала (чаще) одинокого любителя петли Нестерова на вертоле.

Четвертый стакан (и все по 200 гр) укладывал тебя там, где сидишь. А сидишь ты в своей комнате. Один. У Кули — своя комната, но она часто ночует и днюет, и вечеряет у бабушек. У Юли тоже своя — но большая, как левиафан; Иона хренова... Эта Ионаюля в России нынче бывает редко: все по англиям, германиям, австриям, индиям и прочим смачным на советское ухо местам...

Ты очнулся. Нет, ты — очнуаешься. Узнаешь с трудом географию мира, себя внутреннего, топографию пьянства своего. Тебе не стыдно. Тебе хорошо. Боль твоя, долгая и неизбывная: Юля, разлад, развод, Перестройка, Ельцин и т. п., — тупеет, как гриб молодой, пробивающий лбом-шляпкой-котелком своим почву, коренья, траву-листву, чтобы увидеть первый, иной свет — пусть мутый, но существующий и не покидающий тебя. Твое сознание наплывает и накладывается на часть огромного не-твоего, чужого, иного, запредельного сознания; твое — вырастает в него. Но — движется, тем не менее. В зоне пересечения и взаимоналоже-

ния двух сфер сознания (твоего и нетвоего) рождаются безбольные просторы, поля, пропасти, высоты и бездны, где растут стихи... Ты плачешь от стихов Ольги Александровны (которая взлетает вровень с парением Марины Ивановны и Анны Андреевны).

*Только увижу
Путника в одежде светлой белой
Что нам делать куда деваться
Только увижу
Белую одежду старые плечи
Лучше б глаза мои были камнем
Сердце водою
Только увижу
Что бывает человеком
Шел бы я за ним плача
Сколько он идет и я бы шел шагал
Таким же спорящим шагом...*

Любовь, даже самая мерцающая, слабая и неуловимая душой, зачаточная, — начинает крепнуть в тебе, внутри, глубоко, глубже сути твоей, — сначала выдумками, фантазией, воображением, а потом начинает существовать в тебе уже абсолютно своей жизнью, становится частью тебя и тобой: болит, радуется, счастливится и горюет. Печалится — и обретает язык свой и голос твой. Любовь — сущность метафизическая: это не секс — сексом все завершается и разрушается; начальная пора любви — эротика, не влечение, половое и иное, а мощная и множественная гравитация. Любовь живет самой собой. Она питается собой. И — тобой. И ты, вечно голодный и несчастливо-счастливый, думаешь свою любовь и свои стихи. Ты, обращаясь к любви (словесно!) и себе, полюбивающему любовь, употребляешь не формы первого (я, мы), второго (ты, вы), третьего (он, она, оно, они) лица, а формы иного лица: четвертого, пятого... седьмого... сто пятьдесят седьмого, двухтысячного: этот, эта, та, тот, то, те, некая, некий, некие, кто-то, некто, кто-нибудь etc. Язык любви — в тебе и в ней. Этот язык — не он и не она, и не они, — этот язык — некий, иной. Как осень. Осень — некое время года, крупнее года и его двенадцати месяцев! И ты, умирая, умираешь с Евгением Абрамычем:

*Зима идет и тощая земля
В широких лысинах бессилья
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья
Со смертью жизнь богатство с нищетой
Все образы години бывшей
Сравняются под снежной пеленой
Однообразно их покрывшей
Перед тобой таков отныне свет
Но в нем тебе грядущей жатвы нет...*

Ты выпиваешь пятый стакан водки: перед тобой таков отныне свет... Тебе тридцать пять. И на башке твоей появились залысины... В широких лысинах бессилья! — ты будешь думать стихи. Стихи свои, чужие и стихи иные...

Ты выпиваешь — медленно, мучительно и сладко шестой стакан: люди делятся на людей и художников, художники — на людей и не людей. Ты говоришь о себе в семьдесят втором лице. Нет, в семьдесят седьмом. У тебя семьдесят семь лиц, спин, жоп, сто пятьдесят четыре ноги, столько же рук, но душа, сердце и разум (не поддающийся опьянению) существует в единственном лице и зовутся «Ваней», или Онтыя. Онтый, какой-то, да? Не Антей, но Онтый. Или — Онтыйя. Онтый — вождь одиночества, пьянства и стихов.

*Как дымный стол светлеет в вышине
Как тень внизу скользит неуловима
Вот наша жизнь промолвила ты мне
Не светлый дым блестящий при луне
А эта тень бегущая от дыма...*

Сколько здесь глаз? Взглядов? Вот: огонь, дым, свет, высота (небо), тень (тьма), скорость исчезания, жизнь, Она, Онтыйя, блеск, сверк, сварка слезами звезд, луна, лунаты, лунаона, луная, лунаон, лунаони, лунавы etc... Охренеть! Ты качаешься внутри себя: водка трясет матрешку — и разведгруппа мелких небожественных матрешек стучат в тебе — им больно! Блин, им больно! Эй, им больно!.. Ох, как больно Онтыйяю! Больно вам. И боли — больно...

А вот французское стихотворение Фёдора Иваныча: Как зыбок человек / Имел он очертанья / Их не заметили / Ушел / забыли их / Его присутствие / едва заметный штрих / Его отсутствие / пространство мироздания... Товарищ старший лейтенант! За время вашего отсутствия нет никакого присутствия: только очертания бойцов, студентов, ассистентов, старших преподавателей, доцентов и профессоров!..

Социализму пришел триндец — горький для бедноты, сладкий для чиновничества, кислый для всех вместе, но и радостно-тревожный: грядет гражданская война, не Разинская, не Болотниковская и не Пугачёвская, и не Ленинская, это война — серая, негромкая (по ночам в Свердловске стреляют, изредка взрываются Ф-1, миллионы стариков, одиноких и больных людей, алкашей выброшены на улицы — по всей стране: борьба, так сказать, за независимость; звезды, заводишки и фабрики-фабрички разоряются, продаются, сдаются на металлолом, миллионы сели на иглу, в Яковосвердловске каждый шестой ширяется), эта война такая, сука, тихая, но героическая, она вся — либерально (либерализация цен) — Ельцинская. Боря геройствует — отплясывает. Обнимается со всеми Бушами сразу. Молодец... Седьмой стакан (или восьмой?) пошел... Всем, кто жил душой — конец, всем, кто жил и живет кошельком, карманом — кайф, лафа, халява. Халявный хавчик пи.оров комсомольских (Гайдарынемцовыхакамадывсяташваль политико-монетарная). Ну ЧТА ПАДЕЛАИШЬ? ЕШ КАНФЕТЫ В ШКАФУ.

Капитализация оборванцев породила социализацию (тотальную) красоты: эстетика, этика, нравственность, художественность растворяются в развлекухе. Социализация красоты ведет к смерти искусства и словесности: останутся только театры и шоубиз (нес). И это — навсегда? Дааа... Ох, еще ведь и цирки есть!

Восьмой стакан выпит... Развод был быстрым, горьким и смешным. Ты брел к зданию под гранитной / бронзовой / неживой рукой Ленина, в котором располагались мэрия (горсовет), куча магазинов и монстр торговли «Пассаж». С тыльной, ободранной стороны строения находился неприметный подъездик без крыльца — Суд Ленинского района. Ты плелся по Малышева (наркома), повернул на Вайнера (революционного пролетария). Прямо на углу был магазин-магазинище «Часы». Глянул — обомлел: вывеску сменили, и таперича тут светился сквозь огромные витринные окна гадюшник с гордым названием «Коньячная». Ты остановился. Закурил и заметил, как с той стороны жизни тебе машут люди, мужики: Толя Рыбаков (журналист), пара-тройка стихоплетов и САМ Кровопивин (!). Ты заходишь в каравеллообразный гадюшник. Здравоваешься. Говоришь, что вот, мол, бежишь в Ленинский суд разводиться...

— К Ленину?! Сам Ленин вызывает?!

Все ржут. Ты медленно выпиваешь девятый стакан (коньку). Закуриваешь и внятно, с душой, бормочешь:

*Я пригвожден к трактирной стойке
Я пьян давно мне все равно
Вон счастье мое на тройке
В серебристый дым унесено...*

— Это не такси «Три тройки»? — смеется Толя.

— Заткнись. Давай, Ваня, дальше, — гудит Кровопивин...

*Летит на тройке потонуло
В снегу времен в дали веков
И только душу захлестнуло
Серебристой мглой из-под подков...*

Опять Толя:

— «В снегу времен»! «Серебристый дым»!.. Это твои?! Стихи?!

— Заткнись, это Блок. Иван — дальше:

*В глухую темень искры мечет
От искр всю ночь светлым-светло
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастье прошло...*

Ты проглатываешь плач. Продолжаешь.

*И только сбруя золотая
Всю ночь видна всю ночь слышна
А ты душа душа глухая
Пьяным пьяна пьяным пьяна...*

Выпиваешь — залпом — десятый (нет, здесь не 200, а 185 граммов!), прощаешься. Кровапивин дает тебе японскую жевательную резинку (антиалкоголь) — и ты тихо вымещаешься прочь. Ты идешь мимо гастрономчика. Какой-то пьяный мужик валяется в грязи. Присмотрелся — это ты... Нет, не ты: ты бредешь в Высокий Суд и терять тебе нечего, кроме своего тела... У тебя есть еще полчаса до начала заседания. Однажды в командировке ты стал африканским вождем, и Юрка Дмитриев и все вслед за ним называли тебя «Ваше Высокопреосвященство». В тебе опять заиграл «Space». Magic Fly. Сознание и память твои путаются: ты думаешь по-испански (испанский — против кубинских наемников), — ты мысленно говоришь по-французски (французский — дружить с Иностранным легионом), ты матерись по-английски (английский — пугать америкосов). Язык твой, многоголовый, смеется над тобой, как русский язык смеется над нами, давая миру сомнительный чистоты имена (в речевой сфере это — чушь и глушь): Потebня — под-е.ня; лингвисты Щучка, Пескарик, Карасик, Окунёк и другие плавниковые... Все-все-все начиналось с Большого Взрыва. Так? Но: Взрыв — Чего? Думается, что Взрыв (особенно Большой) — это процесс непрерывный и бесконечный (и безначальный), он идет постоянно до тех пор, пока не произойдет столкновение, оттолкновение, распад или синтез физического, метафизического и интерфизического (главного! — это связь) вещества. Интерфизическое вещество порождает музыку и поэзию. Интерфизическое (все!) — это вещество одновременно мощное и нежное... Нежность Мандельштама. Нежность Седаковой...

*С нежностью и глубиной
Ибо только нежность глубока
Только глубина обладает нежностью
В тысяче лиц я узнаю
Кто ее видел на кого глядела
Из каменных вещей как из стеклянных
Нежная глубина и глубокая нежность*

*Так зажигайся
Теплый светильник запада
Фонарь капкан мотыльков
Поговори еще
С нашим светом домашним
Солнце нежности и глубины
Солнце покидающее землю
Первое последнее солнце...*

Нежность выглядывает отовсюду: грубая — из физического; эфемерная — из метафизического; всесильная — из интерфизического, — из музыки и поэзии.

— Истец в своем заявлении утверждает, что Вы злоупотребляете алкоголем. Как часто Вы пьете? Какое количество спиртного Вы употребляете... / потребляете...

— В один присест?

— Да. Отвечайте.

— Пью каждый день с утра до вечера. Выпиваю разом 0,5 литра водки. И так два-три раза в день...

Развели быстро. Да не по углам — по разным сторонам света: бывшая жена отъехала в Англию; бывший муж остался в России. В Свердловске. Дочь по решению суда осталась с матерью. Однако Куля жила с отцом еще три года. Бывшая жена вышла замуж через дюжину дней. За англичанина, который не позволил делить трехкомнатную квартиру в центре (у будущего нового мужа, ювелира, было три особняка в Лондоне): пусть, мол, поэт пишет свои стихи в старой своей квартире; нельзя, мол, обижать поэта, это — грех...

Бывший муж и ответчик (по исковому заявлению) женится через полгода на Ларе, но не на Пастернаковской диве, а на филологине (и третья жена будет с филфака: она появится тогда, когда ты начнешь убывать отшель — досель; жизнь твоя станет уже не —жизнью, а сплошным и непрерывным думанием-страданием стихов и слушанием музыки (вернутся итальянцы во главе с Вивальди, Корелли, Марчелло, Альбинони; вернется Чайковский; вернется Гайдн; вернется Рахманинов, вернется Бах — иной, свежий, небесный; вернется Бетховен) — его музыка появлялась сама — из себя и тебя; вернутся Led Zeppelin, особенно «Since I've been Loving You», вернется простенький Space; а вот «Beatles» окажутся игрушечными, легковесными; появится Sting с двумя шедеврами: «Shape of my heart» and «Fragile»; тебя найдет сразу вся *твоя* музыка — она тебя и спасет)...

Ты читаешь — годами, десятилетиями — только стихи. Читаешь стихи, читаешь, читаешь — и вдруг начинаешь видеть, как Бог, — то бишь зреть сквозь себя нутро мира, фигуры неба и формы смерти, — так жизнь твоя становится виднее, заметнее, вечнее.

Новая жена Лара была всегда спокойна, будто боялась потревожить мир, прильнувший к ней ненадолго — всего лишь на всю ее жизнь. Родился Юрик. Юрий Иванович. Куля (Юлия Ивановна, его сестра) уехала к матери в Лондон, но училась она в Эдинбурге, где дружила с членами королевской семьи — принцами, так сказать, наследными и с головами под корону.

Малыш, или малышбан, как называешь его ты, как и Куля, был твоей формальной копией: правда, Куля и содержательно была тобой, а вот Юрик пошел в Лару (уралмашевку, как и ты) — «ртуть-парень», «огонь-паренек», спокойный, медлительный, рассудительный, малоподвижный, но взрывной, как ты: мог неожиданно вспыхнуть и наломать дров.

Ты выпиваешь двенадцатый стакан. Идешь в универ. Пешком. Читаешь одну-две-три лекции — и на волю: пить! В бывшем кабаке «Уральские пельмени» наливали. Но тебе нравилась келья, прилепившаяся к кабаку, — «У Дяди Вани» (таких тошниловок было по городу не счесть — начинались девяностые). Семнадцатый стакан? Нет, двадцать седьмой или восьмой... Да! — двадцать девятый. Мир сузился, мироздание сжалось до размерчика прожженной и прособаченной душонки какого-нибудь Жана, Хуана, Жунна, Джона, Ивана, Яна, Януша, Яниса... Представил? Увидел?.. Так вот, это уже произошло. Стоп машина. А я че — я ниче: другие вон че — и то ниче... Ночь. Ты в своей комнате (ну,

кабинет, да?..), Лара и Юрка в детской. Спят. В гостиной пес Джоли и котище Григорий, почти выхухоль черная, космач, пуховик, глаза желтые как два полнолуния, клыки видны: они опускаются ниже челюсти младенческо-котячьей — парень растёт с псом, с колли (мама — лайка: Джоли с виду прям-таки чистый колли, а по характеру и по душе — лайка, охотничек, хулиган, «зверок», как говорят манси); они вместе грызут одну кость, глодают одну тушку замороженного минтая; а до Лары и Юрки питались с тобой из одной сковороды в голодные пограничные годы (восьмидесятые с 88 года и начало девяностых) — ты жаришь рожки с колбасой (покупаешь из-под прилавка у тети Даши в гастрономчике огромный батон останкинской или ветчины рубленой — добрая колбаса, отменная еда, пайка, хавчик, бацилла) и делишь поле рожко-колбасное на три части — и в три пасти вы это поедаете с табурета перед телевизором («В мире животных»).

Ты лежишь на красивом крутом матрасике. Рядом магнитофон. На повторе играет одно и то же: «Baby since I've been Love You» (три раза подряд), потом «Show must go on» (три раза) — и назад от Фредди к Robert'у Plant'у. Выпиваешь тридцать третий — и плачешь. Вспоминаешь стихи Пушкина:

*Мой дед когда мятеж поднялся
Средь Петергофского двorca
Как Миних верен оставался
Паденью третьего Петра
Попали в честь тогда Орловы
А дед мой в крепость в карантин
И присмирел наш род суровый
И я родился мещанин...*

К 1920 году был уничтожен род служивый и военный хамом и шантрапой (а ведь твой предок участвовал в пленении Пугачёва, душегуба и хриstopродавца) — и ты родился товарищем. Товарищем — кому?! кого?! Этим шутам, играющим в строительство коммунизма, потом гражданизма и, наконец, капитализма. Но: без сословий, без чести, без достоинства, без совести, без ума, без доблести и без преданности своей земле!..

Валера Паверман, погибший от безделья и пьянства; профессор-зарубежнолитературщик, лекции читал наизусть (проверяли: и на журфаке, и на культурологии, и, естественно, на филфаке). Хорошо читал. В каждом часе и паре лекционной он произносил без предупреждения, так — будто на ум пришло, прибаутки, остроты, анекдоты.

*Кто видел в море корабли
Не на конфетном фантике
Кого енбли как нас енбли
Тому не до романтики...*

Ты улыбаешься — и плачешь. Пьешь тридцать девятый стакан...

*Однажды драматург Шекспир
Затеял пир
И пригласил туда друзей
И два кило купил сельдей
Вы скажете Шекспир?! Сельдей?!
Не для себя же — для бля.ей...*

Пятьдесят первый пошел. Ночь. Только в азеровском анклавe на ул. 8 Марта-Большакова стучит АКМ да изредка грохает граната Ф-1.

*За окошком силуэт
Тихо лег на силуэт
И ребятам не понятно
Кто кого насилуэт...*

Ага. Смешно. О, какая языковая игра! Каков, сука, каламбур! Стыдно... Семьдесят третий пошел...

*Я с милашкой долго енбся
У подножья пирамид
Не буди во мне Хеопса
Пирамида говорит...*

Рифма охрененная. И Хеопс скоро восстанет из хеопсов. И пирамиды скоро возопят!

*Спутник мчится по орбите
с апогея в перигей
На борту кронштейн прибитый
Первый в космосе еврей...*

Сто одиннадцатый пошел. Полет нормальный. Ты подходишь к окну. Спиной (к дому своему) знаешь, что у тебя есть немецкий револьвер (бывший газовый, а ныне огнестрельный) и одна Ф-1. Но ты один. Ельцин и его комсомольцы в Кремле. А ты здесь один. Вчера ты «гостил» (читай «бухал») у брата Андрея. Ушел утром. Зима. Стоишь с пятью ранними пассажирами, ждешь автобус до дома: там душ, переодевание, сто тридцать седьмой стакан — и на лекцию... Вдруг слева, с юга заработали АК-47 и два ТТ. Летят две «Волги». Догонялки. Ты падаешь мордой в снег. За тобой — все остальные. Тачки пролетели. Встаешь. Все стоят. А один лежит. Подбегаешь. Женщина. Пуля вошла в лоб. Наповал. Шальная смерть. По-Ельцински, по-комсомольски и уже почти по-капиталистически нормальная. В стране гражданская война. Смычка мусоров и бандюганов произошла быстро, сладко и нерасторжимо.

Сто семьдесят девятый стакан ты пьешь на ночь. Ложишься на спину в комнатной темноте. Музыка всегда мало. Но: музыки много.

*Когда я жил на этом свете
И этим воздухом дышал
Я совершал поступки эти
Другие нет не совершал
Когда помалкивал и вякал
Мотал и запасался впрок
Храбрился зубоскалил плакал
И ничего не уберег
И вот теперь когда я умер
И превратился в вещество
Никто ни Кьеркегор ни Бубер
Не объяснит мне для чего
С какой не растолкуют стати
И то сказать с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной...*

Будто не Сергей Маркович, а ты сказал вот это... В груди начинает болеть потерянная любовь. К ней присоединяются боли всех потерянных (профуканных) тобой любовей. И Гандлевский опять заговорил в тебе, утешая и добивая тебя.

*Так любить что в лицо не узнать
И проснуться от шума трамвая
Ты жена мне сестра или мать
С кем я шел вдоль околицы рая*

*Слышишь ходит по новой гроза
Так и надо мне так мне и надо
Видишь вновь закрываю глаза
Увлекаемый в сторону ада*

*Заурядны приметы его
Есть завод проходная Кузьминки
Шум трамвая но прежде всего
По утраченной жизни поминки*

*За столом причитанья и смех
И под утро не в жилу старшему
Всех вести на обоссанный снег
И уже добивать по-простому...*

Скороблянабал. Ты родился и жил сорок лет в деревенской России. Даже городская — она — была деревенской. И — остается таковой («Жизнь такова, какова она есть — и больше никакова», — так сказала поэтесса [еще не «поэтка», но «поэт-эсса»] из города-поселка Билимбай Первоуральского района). Ты — к сорока своим — ощутил и осознал кое-что: государство, власть, политика (и политики), социальность (и социализация всего На Свете), социум (ы) — все это не культура и к культуре не имеет никакого отношения, если, конечно, культура — это не кинотеатрцирк; но! самое мощное и губительное в любой цивилизации — идеология; самая сильная и гибельная идеология денег; коммунизм, социализм, капитализм — это формы существования идеологии денег; фашизм, нацизм, религиозный фанатизм — инструменты, инструкции и процессы, дающие деньги. Деньги!.. Будь они прокляты... О, да, еще и ЛГБТ+ИК+N+etc и некий феминизм — это тоже политика: жили люди, жили — два миллиона лет (Африка), двадцать тысяч лет (Междуречье, Вавилоно-Ассирия etc) — и вдруг обнаружили у себя в паху (в пахах, похоже на «в папах») что-то странное и постоянно зудящее, чешущееся... О, что же это, Господи?! О, так это же письки наши! Генитальюшки! Родимые! Они-то и суть самое важное и главное в политике (будь она проклята!) и в идеологии (Боже, вышла книжка, русская: «Поэтика феминизма», то бишь поэтика политики. Феминизм, как и акмеизм, не есть синоним понятия «поэзия»!..)

В чем фишка?! А — фишка в двести пятом стакане... Ты пьешь восемь лет. Защитил кандидатскую в тридцать шесть своих бедовых лет. Тебя побаиваются: алкаш? ученый? поэт? (публикуешь стихи в Москве; работаешь с лексической семантикой, пишешь статьи научные; пьешь как лошадь — а все жив и, кажется, здоров). Ты пьешь восемь лет...

— Ты пьешь восемь лет и будешь пить еще четыре года.

Ты оглядываешься — Она. Ты поднимаешься со своего финского пружинного матраса, прижавшегося к полу. Джоли выходит из твоего «кабинета», а Гриша — отважный кот — остается, — он вспрыгивает, нет, взлетает на подоконник («кадопоник») и пялится двумя своими полнолуниями на Нее.

— Кота тебе подбросила я. Он черный и шарообразно пушистый, и клыки у него волчьи. Но он — твоя тень. Вот и не отходит от тебя.

— Почему еще четыре года? Вы уверены?

— Да... А сейчас оставим кота и навестим кое-кого.

— Кого? Где?

— Одного поэта. Там...

Ты надеваешь куртку, черную, кожаную, индийскую.

— Нет, надень рыжую-апельсиновую кожаную.

— Испанскую?

— Ну да.

— Она же легкая. Задрыгну.

— Не озябнешь. Там тепло. Всегда тепло.

Они переходят по мостику-коромыслу речку и оказываются в поэтологическом раю.

— Меня хочет видеть Блок?

— Да, Александр Александрович.

Они вошли в дом сквозь беседку, восьмигранную, с крестиками и лилиями, в форме которых росли странные кустарники, расплющиваясь и меняясь по степени и силе давле-

ния взгляда на живые узоры. Блок сидел в кабинетике, за столом. На полу покоился финский пружинный матрас, но не розового, а стального цвета. Рука Блока лежала на стопке бумаги как фарфоровое пресс-папье в форме и в виде руки Блока.

— Добрый день, Александр Александрович, Вы — *здесь*... Как Вам *здесь*?

— Ты.

— Как тебе, Александр Александрович, *здесь*? Как поживаешь? Что поделываешь? (Ты не чувствуешь волнения совсем, все происходит так, как и должно быть.)

— Просто Александр. Лучше — Саша. Ты. Саша... Вот пишу письмо Любе.

— А она не *здесь*?

— Нет. Она осталась там.

— Но... время-то у вас с Любовью Дмитриевной одно...

— Ваня, времени нет. Есть только вечность и любовь. Они — суть поэзия.

— Я помню записи твои в дневнике 1908 года. В них все страшно и легко.

— Да. Именно так: страшно и легко. Я в ту пору находился между жизнью, вечностью и любовью. Потом жизнь ушла. Я тогда очень устал. Устал, как весло Харона. Грести пустые воды, напрягаться, пружинить, потрескивать и постанывать...

Блок был очень молод и чист лицом. Большие глаза его, серые с голубизной, легко удерживали сиреневатые, или посиреневшие, зрачки... Он встал. Поставил на стол кофейник и три крохотные чашечки лепесткового китайского фарфора. Фарфоровой рукой он быстро, но не спеша, точно, по-снайперски выверено и длинной струйкой разлил черный напиток по фарфоровым лепесткам. Запахло нежным кофейным порошком, горько-сладко, по-домашнему крепко и невесомо.

— В 1908 году я писал чушь: «хочу приобщиться к народу... хочу, так сказать, заняться общественной жизнью, работой...»

— Как Чехов, да: мы будем работать, работать, работать, учить крестьянских детей...

— Абсолютно точно так.

— Я люблю твоих «Скифов»... но... побаиваюсь...

— И я люблю это стихотворение. И — боюсь его... Иван, хочу тебе кое-что сказать. Точнее — напомнить (ты это знаешь сам, но подзабыл в процессе жизни). Главное для тебя, для меня, для нас всех, обитающих в этом пространстве, — главное — не верить, как ты выражаешься, социализации, если ты, непременно, поэт. Музыка и стихи. Они — вечны, и они — вечность. Поэзия — это связь жизни, смерти, любви и красоты.

— Я искал бесконечно красивых...

— Да. Вечно красивых.

Они пили кофе, вдвоем. Но кофе в чашечках-лепестках не убывал. Он и не остывал. Пахло вечностью.

Ты проснулся через час, в пять утра, выпил двести девяносто девятый. Покурил. Прислушал «Июнь» Вивальди. Заплакал и уснул.

Через двадцать лет — ты это видишь в своем пьяном бреде — ты построишь дом в деревне (не в Шатрах: бабушка и дед уже умерли, и ты не в силах даже просто заехать в Шатры, заглянуть в шатер березовый). Дом стоял новый, а баня присела в углу твоей

земли — старая, но большая (по-дурному просторная — кто так строит бани! — в бане должно быть тепло, тепло печное, а не любое электрическое, дурно пахнущее казенное тепло «русской сауны»), в бане ты постоянно бьешься башкой о притолоки — бьешься, бьешься — и ходишь, избитый баней... О, как болит башка. Как после пьянки с Башлачёвым в общаге на Большакова-Чапаева. Он кричал свои песни, ты бормотал свои вирши. Однажды чуть не подрались — но Игорь Сахновский (в будущем известный писатель и стихотворец: в одной из книг есть стишок с твоими строчками — что-то вроде «но соринка в глаз попала, / заслонила целый мир...») разнял. Не пустил Сашу в бой, а ты и не рвался. Ушел. Свалил. И больше к журналистам на пятый этаж в холл не ходил — скушно все это: крик, шепот, бормотание, ор, тишина.

Ты спишь — бредишь, а пьянь твоя бодрствует — водит тебя в просторах твоей памяти, воображения, боли и любви. То на комсомольскую свадьбу зайдешь, то на капиталистическую. И то и другое — не свадьба, а сратьба. К чемору! — как говаривала бабушка... Башлачёв уехал в Ленинград (Ленинградский рок-клуб), где однажды выпрыгнул в открытое окно и улетел — навсегда... В 1986–87 году ты получал чеки (и доллары) в спецкассе на Кутузовском в Москве. Вызывали получателей по селекторному радио: «Орлов: пятое окно». Там было тесно и душно (излет лета), небольшой зальчик, без стульев, ровно посередине, в центре своем был пуст. И в этой антропологической лакуне стоял один-одинешенек крупный мужик. Ты вдруг узнаешь в нем поэта Юрия Поликарповича Кузнецова. Ты — никто. А он — поэт, получающий долларовый гонорар за переводы или публикацию за бугром. Ты подходишь, протягиваешь ему руку и говоришь: спасибо Вам, Юрий Поликарпович, за стихи и книги, особенно за «Выходя на дорогу, душа оглянулась...» Вы знакомитесь. Он влюбляется (моментально) в твою жену. Но ты уже привык к такой лабуде. Вы идете в пельменную, пьете водку и коньяк, а ты жалеешь, что подошел к этому высокому, но рыхлому, с бабьим лицом человеку-поэту: разговора не будет — Ю. К. любезничает по-медвежьи с Юлей. А тебе уже плевать. Ты *это* уже проходил. Напились. И т. д. ...

Пятисотый стакан — самый сладкий. Ночью покупаешь в гадюшном киоске самарскую водку. Обезоруживаешь нарка. ПМ отдаешь продавщице. Принаитовываешь басурмана к решетке, которая покрывает весь киоск, наручниками, продающимися здесь же (продавщица — девка лет сорока — с удовольствием жертвует сей товарец), милая водконоска дарит тебе литровую самарскую плюсом к твоей поллитровой. Отступив в сторону шагов на двенадцать — в тень от дома (темно: фонарь один на весь проулок), ты открываешь пузырь и пьешь из горла. Полбутылки одним ахом. Водка сладкая. И это радует.

Пятьсот пятьдесят пятый (без учета твоего алкогольного участия в коллективных застольях и попивания водки из горла, из жестяных банок, из пластмассовых стаканчиков, кои продавались с крышечками всюду и всегда) идет соколóm. Ты слушаешь (ночью в четверть звука, Билли Джоэла «Good Night Saygon» с мартирологом, среди поминаемых певцом — Polansky. Славянин. Поляк? Русский? Хохол?... Ты плачешь. Потом рыдаешь. Бьешься, как в бане, в стену башкой... Выпиваешь еще и негромко (не разбудить бы Лару с Юркой) бормочешь свой, наш мартиролог: Три Серёги: Серёга Клочков («Клок»), Серёга Клычков («Клык»), Серёга Колычев («Кол»); Сакен Абылхапов («Аблом»), Денис Воробьёв («Дэн»), Стас Чекавинский («Чек»), Петя Яковенко («Махач»), Петя Яковлев («Яша»).... Ладно,

корешь — хе.ню порешь... Лондон-Париж, хе.ню говоришь. Швыркаешь носом, как сопельдофер. Soppel-Dofer. Ну, как-то так... Не плачь! — Я куплю тебе тягач...

Встаешь в 6.00 (лекция в 9.00). Звонишь лаборанту кафедры Вале: я заболел. На неделю. Температура и все такое. Пьешь семьсот двадцать третий... Вышли от Блока, промелькали в полосках, кружках и квадратах света, пронизавшего беседку. Вышли к дубу. Толстовскому? Андрееболконскому?.. Воздух перечеркнула ласточка.

— Откуда? Здесь же нет птиц?

— Залетела из жизни.

— Что с ней будет?

— Вернется назад. Расскажет всем, как тут, что тут. Каково эдакое существование... У границы (у Большой реки) встретили трех девиц, одетых одинаково — в джинсовые юбки и жилеты, а блузки белые, в кружевах, а на запястьях по браслету гранатовому да с алмазиками. Ты вопросительно смотришь на Нее. Она понимает твое любопытство и откликается:

— Это Калипсо, Эрато и Эвтерпа, музы эпоса, лирики любовной и поэзии. Которая краше? А, Ваня?

— Эвтерпа.

— А Эрато?

— Слишком она... гламурноватая какая-то. А Калипсо — прям Гомер да Толстой в одной юбке.

— Ну-ну! Не шути так: услышат — накажут. Ни строки не напишешь. За тремя девицами, на берегу Большой реки сидел старичок в моцартовском паричке, оказавшимся седыми волосами с голубоватой прозеленью. Он легко поднялся с травы и шагнул навстречу Ване (Ее он почему-то не заметил или не видел совсем, а может быть, по старости не усмотрел):

— Иван Васильевич, рад Вас видеть. Наслышан. Это нечего, что Вас там не знают. Здесь Вас знают и уважают все...

(Тютчев! — содрогнулся Иван. Господибожетымой! Фёдор Иванович!)

— А это хорошо, что Вы любите Жуковского (вон он — в рощице подберезовиками любитесь), Баратынского и Вашего покорного слугу: невыразимое от нас не уйдет, не спрячется, а злободневное, да?.. Вот господин Некрасов злободневничал, злободневнил — да и принес тяжелейший и соблазнейший для дураков вред Поэзии. Эвтерпа, простите, посмеивается, но... И я, грешный, сочинял бредятину барско-холопскую. Стыдно мне, батенька...

— Но... Фёдор Иванович! Без Ваших философических элегий и миниатюр поэзия нынче была бы иной — беднее, глупее и болтливее.

— Спасибо, дорогой Иван Васильич!.. И я позволю себе дать Вам совет — не совет, но пожеланье: не гляди туда, где глухота. Не смотри, а видь. Не слушай — а слышь. Не пой и не плачь — а плачь и пой: песнь и плач — одно... Не смотри туда, где глухота!.. — Фёдор Иванович коротко, но крепко пожал руку Ване, поклонился пустоте, в которой была Она — и быстро, скоро, не сбавляя шагу, удалился в сторону Рощи Жуковской...

Восьмисотый стакан пахнет водой, а не водкой. Водой не-из-под-крана, не из скважины, а из колодца: крепкий и топкий аромат камня, лиственных бревен, железной цепи и звезд, застрявших в далеко глубокой воде, приводят тебя в чувство, в память, в себя...

Сыну пять лет. Дочери — двадцать два. Она приезжает редко: живет то в Лондоне, то — чаще — в Японии. Ты чувствуешь себя всюду и всегда не лишним, а природно чужим: когда вы с Ней ступили на сушу (воздушную? почвенную? влагообразующую? водную? о, хляби небесные!..), ты спросил у Нее:

— А это что за пространство, такое-этакое?

— Это сфера вещества.

— Сфера трех веществ?

— Ну, это у тебя их три (и все в голове). Попробуй думать, мыслить и воображать всем своим телом, плотью и не-плотью, всем своим существом.

— Вы хотите сказать, что ЭТО — сфера всех веществ? Или... сфера вещества вообще, как такового? Вещества неразделенного, дофункционального?

— Примерно так. Но: еще проще и еще сложнее. Проще — для поэта. Сложнее — для ученого... Отвернись от Платона, геофизики и астрономии (это ложные, примитивные учения и представления о жизни), от физики, от Эйнштейна, от Ньютона, от философии, от Гегеля, от Канта, от Хайдеггера (завирального, но приблизившегося к истинному ближе всех), от социологии, психологии и политологии, коих вообще не существует. Отвернись от себя — и повернись сердцем к Гомеру, Данте, к Шекспиру, к Рильке, к Тютчеву, к Эмили Дикинсон, к Пушкину и к Боратынскому (к обоим Бо/аратынским), к Мандельштаму, к Хлебникову, к Заболоцкому, к Александру Поупу, к твоим современникам — Майе и Ольге, — и ты увидишь себя, голого, но одетого в домыслы и вымыслы, твои и чужие...

— А музыка? Я всегда в ней... Что это? Какое вещество?

— Музыка — проводник слова. И проводник дела, тела, души и сердца,

— Каково вещество музыки?

— Музыка — феномен довещественный, поэтому она и существует в бесконечном количестве форм. Музыка ментальная. Музыка крови. Музыка не тактильна, но ты к ней прикасаешься, и она это чувствует. Музыку слышат не все. Прямо сказать — единицы. А то, что вы называете и считаете музыкой — это ритмические колебания воздуха, которого в мироздании почти нет. Музыка — это и ритм, и энергия миростроения и миростроительства... Ну чта паделаиш...

Еш канфеты в шкафу...

Тысячный стакан ты выпиваешь после похорон отца, которого не знал, деда, которого любил и частью которого был... Ты вшивался, подшивался дважды. Эспераль. Торпедо. Или объемный (огромный) укол, или ампула под кожу (в верхнюю часть ягодицы или под лопатку). До финиша пьянства твоего остается один месяц. Тебе почти сорок четыре... В твой пьяный бред заглядывает покойный (на земле), но живой всегда — в тебе — дед. Ты говоришь, что стал кандидатом филологических наук.

— О, приват-доцент! — ехидно усмехается Иван Иванович. Потом улыбается, — скоро ты остановишься в своем пьянстве, перестанешь быть «глубоко пьющим человеком» и займешься своим делом по-настоящему...

Сфера вещества и веществ была проникнута серебристым туманом. На границе небесного серебра Она вдруг сказала, но не обращаясь к тебе, а скорее к туману:

— Ты тоже будешь здесь. Ты еще напишешь свои элегии и книгу о том, кто думает стихи.

— О немтыре.

— Да. Ты тоже будешь здесь, как эти две тени...

Из тумана вышагнули и остановились двое, будто поджидавших Ее и Ваню, именно их и именно здесь. Это была девочка и крупный мужчина. Нет, маленькая девочка-старушка, востроносая, с седыми волосами и молодыми весело-серьезными глазами. Она обратилась (без приветствия) к Ивану:

— Вы любите поэзию Бориса Красного?

— Нет, не люблю.

— Но все-таки, прошу Вас, напишите о нем книгу.

— Зачем?

— Потом поймете...

— А Вы... Как Вы относитесь к его стихам?

— Я их тоже, как и Вы, не люблю: они излишне эмоциональны, если не истеричны.

— Да. Да... Вы здесь... как Вы здесь... Вы гуляете?

— Да, прохаживаемся с Сергеем. Он совсем озяб. Пора домой.

— Домой?

— Ну, Вы же написали: «А умер — это где?...» Так вот, мы еще с Вами. Живы. Только вот зябко здесь.

— Это от тумана и его серебра...

Ты опрокидываешь в себя тысяча какой-то стакан водки. Засыпаешь. Музыка земная — вся есть вырастание и произрастание коды и вещества неведомого — к финалу (у Вивальди во «Временах года» [«Сезоны»] есть двойные, тройные и даже четверные финалы — квадриги). В роке — сразу длительная кода — и хлоп, и не жужжит. Или «медляк», «блюз» — это словно оса кружится вокруг сердца, ввинчивая множественную, но монотонную коду в воздух, в мозг, в небо...

— И что же мне поделывать? Как мне быть?

— Думать. Думать все на свете и все во тьме. Думать всем существом. Слово и слова придут сами, — Она улыбнулась. «Так она прощается», — подумал ты и проснулся.

После второй вшивки, или подшивки (многие иные алкаши чаще «кодировались»), ты продержался насухую три недели. Однажды ночью ты надрезал кожу на верхней части задницы и выдавил-выковырял ампулу десантным ножом. Выпил. Пошла вторая сотня второй тысячи стаканов: в сутки, в течение почти дюжины лет, ты выпивал литр-два водки. Как ты не сдох? Неведомо. Ты теперь лежал на твоей «финляндии» (тюфяк стал пестрым от водочных и кофейных пятен, а также от сигаретных ожогов — как ты не сгорел? — неведомо), дремал и от бессилья общего, тотального включал музыку в голове, чаще «Июнь» Вивальди и «Since I've been loving you», иногда в тебе пел Паваротти арии из Доницетти, «Любовный напиток», из «Аиды», или в тебе напевал Марк Бернес свои и твои «Журавли» Наума Гребнева, или в тебе нежно рычал Высоцкий: «Банька», «Кони привередливые», но чаще все-таки «Он вчера не вернулся из боя»: «Наши мертвые нас не оставят в беде, / Наши павшие как часовые / — Отражается небо в лесу, как в воде, / — И деревья стоят голу-

бые...» Иногда Глен Гульд заходили в башку с Бахом, а порой Гери Мур играл в мозгу «Dirty fingers».

Борис Гайнутдинов («Барс»)

Саша Верников («Кельт»)

Витя Смирнов («Геннадьич»)

Андрей Матвеев («Моцик»)

Игорь Сахновский («Игорёша»)

и другие важные, а также особо важные Саша Сидельников («Шуня» и проч.) и Петя Сульженко («Синий платочек») — все они и иные, все-все-все пили с тобой за убитые две страны: за Россию и за СССР. За РФ пока тостов не поднимали, памятуя о Ельцине, о расстреле Белого Дома, о миллионах убитых несчастных квартиросъемщиках, о ваучерах, о миллиардах долларов (самое актуальное слово в девяностые), украденных у каждого из русских, татар, башкир, финно-угров и прочих людей, умирающих здесь и сейчас.

Саша умер в 1998, Петя — в 1997. Год смерти. Смерть продолжалась целый год. Родная смерть, пережившая жизнь. Неродную жизнь...

О, родная смерть! Разведку встретили на базе МП в кубрике Jet'om Маккартни, а проводжали в командировку опять же Маккартневской «Yesterday»... Ты паришь во временах и пространствах. Ты летаешь. Ты умеешь летать. Все перед смертью научаются летать. Твой вечный сон о погоне за тобой милых кубинских наемниках, о стрельбе по тебе (на спине — мишень в виде яблочка или бутылочки кубинского рома), о западне: дальше бежать некуда. Осталось три патрона в ТТ. Два по «кубикам». Один себе... Ты обливаешься ледяным воздухом ужаса и — вспоминаешь, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ЛЕТАТЬ! Толкаешь планету от себя — ногами — и летишь. Это длиннющий, в десяток километров, прыжок. Три прыжка — и ты на песчаном берегу океана. И — никого окрест. Пусто. Спасен?..

А где группа? Где твои разведчики, мать их так? Увел ты гадов от них — это точно... Значит, добрались до своих. Направление они знают, а вот расстояние... да, это тухло: они же не ведают, что ты могешь летать... Ну, чта паделаиш...

Ты осушаешь двухтысячный. Кто видел тебя в этом запое, говорят: «Не жилец». Доктор философии Саша Лобок увидел, как ты опорожняешь фужеры с водкой (175 гр.), и заплакал: «Он же ж умрет...» Где тут полиция и больница, а?! Скоро будет вторая. Три скорые. Две (антиалкогольная и реаниматоры) спасут тебя. Из кардиоцентра тебя вытащат Озимов и Женя Ройзман (он всех спасает), который переговорил с начальником жизни-смерти, дал ему денег, и ты свалил домой, через дорогу, а медсестра ходила трижды в день — укалывала, прокалывала, ласкала, мол, не помирай... Через неделю ты встал и (с обширным, задней стенки миокарда) пошел читать летние лекции на интенсивных подготовительных курсах: деньги все пропил, а скоро Лара с Юриком из Крыма (еще украинского) приедут. Еш конфеты в шкафу.

Идешь с курсов домой: загнешься — не загнешься, дойдешь — не дойдешь?.. Все друзья развалились. По диванам. Все девочки твои: поклонницы, ненавистницы и любовницы — исчезли. Один. Харашо!

На Царском Мостике через речку-говнотечку Исеть стоят — как раз на серединке, на горбинке стального-чугунного (каслинское литье) радугообразного сооружения — три дамы, девушки, девицы. Одеты — как в театре Нижнетагильском на представлении г-на

Молиера — в чем-то длинном, но воздушном и почти проницаемом. Подходишь и говоришь им стишком Лени Губанова (из книги Андрея Георгиевича Битова):

Вот иду домой точно в озере
Карасем иду из мошны
Сколько женщин мы к черту бросили
Сколько сами мы не нужны...

И сразу — без паузы (это Петя Кошель):

Издалека от самого заката
Бьет океан волною лиловой
Любимая ни в чем не виновата
Любимая ни в чем не виновата

С путины возвращаются ребята
Он водку пьет и нет ему возврата
Любимая ни в чем не виновата
Любимая ни в чем не виновата

В фуфаячке где сто одна заплатка
Он берегом проходит воровато
Любимая ни в чем не виновата
Любимая ни в чем не виновата...

Ты видишь не испуг в глазах подружек из вечности, но сочувствие.

— Ты — Ваня. А мы: Каллиопа, Эрато и Евтерпа. Евтерпа стесняется тебя: она думает, что ты ТАМ свой — ведь ОНА всегда с тобой!

— Кто — Она?

— Наша старшая сестра. Нянька. Воспитательница и подруга.

— А вы? Кто — вы?!

— Я Каллиопа, это Эрато и Евтерпа. Вот прогуливаемся. Прохладно здесь у вас. Куда холоднее, чем на Древнегреческой Колыме.

— А это где?

— Твоя подруга Майя сказала:

Не какие-то грозные вежи
Мелкий камень да козьи орехи
Да прибитая пылью зима
Околоток античного мира
Вековая провинция Тира
Древнегреческая Колыма...

— Да! Это из «Днестровского лимана»...

Каллиопа имела высокий рост и крепкое телосложение. То ли гречанка, то ли еврейка, то ли Светка Кускова, одноклассница твоя. Нос почти гоголевский, но толстоватый и крепкий. Эрато была крохотной и очень подвижной — «вертушка» (не — вертолет! — но дева!). Очень хороша собой: и лицо, и фигура, и глаза почти сиреневые. Евтерпа оказалась молодой (но бессмертной) женщиной, почти родной — как сестра или жена. Она была стройна, гибка и молчалива. Улыбалась редко — но так, что дрожь проходила по телу сверху вниз и обратно — три раза. Родная душа. Родная жизнь, хоть и иная. Родная смерть. Родная любовь...

Ты пьешь водку из... Нет, не из горлышка бутылки и не водку. Георгий Александрович, нарколог, тебя подшил — как раз между лопаток... Ты пьешь кефир из широкого горлышка бутылки литровой. Выздоровливаешь.

Музыка слушает тебя. А тебе мнится, что это ты, великий и всесильный,ходишь в нее, втекаешь, влетаешь... Музыка — это такой феномен, такая субстанция, самовольная и капризная, пугливая и отчаянно прямая и искренняя, это такое вещество, покрытое эмоциональной пленкой, плевой, кожицей, скрывающей в себе нечто большее, нет — глобальное, всеобъемлющее представление мира, или метаэмоцию: метаобразы, метасмыслы, метаидеи, метатипологию частей мира и тебя, которые наблюдают тебя и оценивают: годишься ли ты, в силах ли ты объять необъятное, услышать неслышимое, увидеть незримое. Нужно тысячи раз внять музыку в себя, вжать, вратить ее в себя, чтобы она услышала тебя и оставила тебя в себе... Тебя убивали, ты умирал десятки раз: в детстве утонул (Коля, Катин брат, спас тебя, вынул из глубины голубого уральского карьера-разреза); ты умирал от болезни Боткина; а во младенчестве ты, впервые шагнувший в открытое окно на узкий наличник в коммуналке на ул. Сталина и впервые оставшийся в комнатке (3 на 3 = 9 м²), когда Катя убежала в Старый-Новый гастроном за молоком (слева «Дворянское гнездо», справа ул. Ильича с библиотекой детской), — ты шагнул в воздух, ступил на него — и пошел, вылез на подоконник с диванной подушки, выбрался на широкий, как ладонь Юрия Власова — штангиста, жестяной наличник и пошел по нему от родного окна к неродному балкону; внизу собралась толпишка, все молчали, ахая в ладошки, а дядя Стёпа, старшина, мент, мусор, — взбежал на третий этаж (на первом был ресторан «Север», остальные три — коридорная система комнат), вылетел на балкон и поманил тебя: «Ванечка, Ванечка, а вот — пряничек, иди ко мне, родной...» — он же спас тебя, когда забрал у тебя, пятилетнего, наган, заграничный и со взведенным «курком»; тебя трижды спасали ноги от потоптания толпой шпаны на ул. Победы (ты — победил?); тебя вытащил из-под летящего деревянного трамвая («Пятерка») Юрик Пятилов (не фиг ездить на подножках!); в десятом классе тебя проткнули пикой, ты с трудом среагировал, и заточка (изготовленная из автомобильного «дворника») проткнула тебя левее сердца (как музыка — всегда чуть левее сердца — нужно чуть-чуть развернуть грудь — и в точку!); тебя убивал пером воровским Блатной, когда вы с Борей Медведевым, твоим шефом по фрэерному стану, отмахивались («вырубая») от четверки блатоты; армию, точнее флот, опускаешь, пропускаешь, отпускаешь: пять командировок — пять плюс десять смертей держали тебя за яйца; ты погибал, будучи студентиком филфака, забираясь по пьянке на пятые этажи хрущевки по балконам; инфаркт; выстрелы (два) себе в висок — осечки; и кубометр

водки, вина, пива, лосьонов, одеколona и даже французских духов «Мажинуар» с поэтом Сашей Еремёнко; ну и любви твои до гроба (две-три, но абсолютно гибельные)... Эх-ох-ух, тра-ля-ля!..

Ты умер семь раз, хороня своих: бабушку, дедушку, Колю (мысленно: ты был тогда в тюрьме военной), Катю (бедную маму твою), Сашу Сидельникова и Петю Сульженко — лучших своих друзей, Игоря Сахновского, Витю Смирнова, Витю (Виталия Михалыча) Воловича, великого художника... И так далее, и все большее, большее, большее...

С братом Андреем произошел разрыв. Сразу после смерти Кати. В декабре 2003 года она пропала. Андрей (все-таки мент: генералов возил) пробил все морги и больницы. Нашлась Катя на Эльмаше, полуразрушенном и запущенном донельзя здании: в больничке, в травматологии — перелом шейки бедра. В те годы, нищеты, пьянства и разрухи, такие травмы считались смертельными: старики падали зимой, оскальзываясь на гололедах, перебираясь через гребни снежных завалов, — ломали себе все на свете. И умирали. Можно было продать квартиру и вывезти Катю в Германию или Швейцарию, но... А куды же девать семью? Квартиры тогда подешевели — денег хватит лишь на дорогу, на первичное лечение, а на операцию — шиш. Иван замолчал. Совсем замолчал. Окончательно. Его вдруг избрали председателем правления Союза писателей (местного Уральского отделения) России. И он согласился. Но не сдуру, а потому, что не хотел избираться в Универе на пост декана филфака (он уже защитил к тому времени докторскую и стал профессором: написал первую свою монографию о поэтическом тексте как уникальной этико-эстетической системе — эта книга стала основой второй диссертации). Из травматологической больнички Катю забирали вчетвером: Ваня, Андрей, Лара и жена Андрея Лена (торговка: семь киосков). Спросили мать, куда она хочет: домой, к Андрею или к Ване. Катя выбрала Ванин дом. Она стала совершенно беспомощной. Привезли. Помыли. Уложили на широкую кровать в самой большой комнате, освобожденной от всего лишнего... Андрей и Лена даже чаю не попили — вдруг снялись, вскочили, вспорхнули и вприпрыжку, похохатывая от удачи такой (Ванька взял инвалидку себе), выдвинулись вон. Мент («мусор» по-уралмашевски) и торговка, и все семь киосков и прочая хрень — все это вымелось из дома Ивана к такой-то матери от матери родной.

Мать умирала долго: в больничке у нее случился инсульт — не заметили эскулапы, но дома, у Ивана, она оправилась, посветлела, повеселела. Они делали трижды в день стойательно-ходильную гимнастику (правая нога Кати стала огромной, неподвижной и неживой — сосуды не работали, кровь застаивалась). Катя, всегда живущая музыкой, слушала бесконечно Лючано Паваротти (и канцоны, и арии, и песенки), иногда Чайковского и Рахманинова, и всегда рядом с Паваротти был Вивальди, все: и концерты, и циклы, и оперы. Умерла Катя летом. Иван был в Каменке — стоил дом с товарищем своим Барсиковым (Барсиков был хороший молодой мужик с аутизмом и энтузиазмом).

Аутизм и энтузиазм Антона Барсикова веселил Ивана и спасал Антона от внезапных — до обморока глубоких — задумчивостей. Иван приезжал в Каменку два-три раза в неделю, а то и на целую декаду (сказывался всюду больным). В тот день он с утра сбежал на озеро с удочками. Вернулся. Перекусил. И поднялся на чердак бани (жили, пока строили дом, в бане). Уснуть не мог: в голове крутились строки:

Волны фору дают брусчатке
Все теснее как предки в сыне
Словно времени отпечатки
На распиленной древесине...

Дальше — ничего. Точно волны времени неуходящего, волны тоски и волны напряженного думания стихов, которых еще нет... Зазвонил мобильник. Ты закурил. Взял трубу. Это была Лара.

— Слушай, Бабе Кате совсем плохо... (Лара — под сына Мишу — звала Катю Бабой Катей).

Ты помолчал. Затянулся. Засмотрелся на циферблат паутины в углу чердака:

— Умерла?

— Да.

— Когда?

— Когда ты пришел с рыбалки и наверняка думал новые стихи...

— Пятилов уже едет к тебе... — перезвонила Лара.

Ты услышал со двора голоса Григория и Людмилы (они имели дачу по соседству). Узнали от Ларисы. Пришли, поспешая, утешать...

Ты лег на чердачную солдатскую койку (откуда эта рухлядь здесь?!) — и додумал вторую строфу, которая пришла сама. Но больно — пришла.

эти кольца сучки излуки
полный свиток ствола живого
только крепче родство в разлуке
и темнее от крови слово...

После третьего инсульта лечащий врач, глядя в глаза Ивану, сказал:

— Не надейтесь! Сердце у нее, как тряпка. Изношенное. Изодранное. Забирайте свою маму домой! Пусть уйдет... выйдет ТУДА из родных стен!

Ты подумал: воевал мужик. Не менжуется. Говорит прямо. Серьезно. Как офицер с офицером на передовой... Но: в тебе, в груди, где-то посередине, возник небольшой, но твердый и тяжелый кулак. Он то сжимался, то разжимался, то опять сжимался еще крепче.

Через год после смерти поехали в Шатры, на кладбище, где урну с Катиным прахом «подхоронили» к могиле деда, рядом с которой, в метре к югу, была могила бабушки. Приехали — табором: три машины Юры Пятилова, Толика (дяди бывшей жены, с которым ты по-прежнему дружил — да и Каменка твоя сблизилась, да и горести Толика ты понимал и как-то помогал, и не только участием и словесными траурными гимнами), и огромный Land Cruiser Жени Остмана («восточный» человек, да?) Расположились поминать. Пирог, вино, соки. Толик взял с собой сына — похмельного Вовку, Юрик прихватил Серёжу, хорошего молчаливого парня, Лариса, руководя Мишкой, сынишкой вашим, «строила» всех: так, это — сюда, это — туда, ты — здесь садись, вы располагайтесь тут, а вы падайте на одеялко здесь (это — детям)... Годовщина. Год после смерти Кати. Лето. Август. 22-е. Холодно. Без дождя, но с тоской или, что еще хуже, с печалью. Ты звонишь

Андрею (появились мобильники, у тебя «Nokia», тяжеленький и удобный для сжатия в кулак, как «лимонка»).

— Привет! Ты где?

— Как где? Дома. А ты где?

— В Шатрах на кладбище.

— Мы ж договаривались на завтра.

— Нет, на сегодня: 22 августа. День смерти.

— Да иди ты... На... В...

— И ты иди, — ты отрубашь звонок. Через минуту-две звонит он:

— Твою... да я тебя... Перестреляю всех... («Бухой», — думаешь ты).

— Перестреляешь. Где?

— Везде. В городе найду. Шмальну. И бабу твою, и щенка твоего... — ты прерываешь разговор. Кладешь телефонище в карман и направляешься к кустам до ветру, по дороге ты отключаешь звук. Тебя потряхивает: «бабу»! «щенка»! — то бишь Ларку и Михася. Твою ж мать... Допился мусор: сутки через двое возит толстозадых с лампасами, сутки пьет, сутки отсыпается — и так десять лет. Охренел товарищ... Да и... Бог с ним... Адыхай, ну-с...

В кустах закуриваешь.

С могилок кричит Лара:

— Юр, тут тебя Андрей. Мне позвонил. — Ты берешь Ларину трубу (Андрей кричит — голос пьяной ярости, почти истерики):

— Я убью твоих детей. Пристрелю. Всех грохну. Замочу!..

Ты обрываешь его монологический крик:

— Заткнись. Завтра позвоню. За угрозы будешь отвечать. Имей в виду, дружок. Я ВПИСАЛСЯ... Ты знаешь меня и помнишь, ЧТО это значит. Все.

Печальной, блин, будет эта песня о том, как птицы улетели... прилетели... умирали... А в них менты всю ночь стреляли. А темно-то как — глаз выколи... Договорились о встрече. Под вышками ПВО, за Уралмашем, за кладбищами еврейским и татарским. В назначенный день сошлись. У теплотрассы.

— У тебя что? У меня ПМ.

— ТТ.

Андрей явно зассал. Но бешенства в его взоре не поубавилось. Катя всегда говорила: «Какие вы разные — как от разных матерей...» Он — вылитый толстый татарин с хитро-добрыми глазами. Ты пошел в деда: худощавый, высокий, со светлыми волосами и чернейшей бородой. У него — деньги. У тебя — стишки. Он — мусор. Ты — профессор. Он суетливый. Ты печальный. Оба — алкаши: он до сих пор, а ты седьмой год не пьешь. У него жена — торговка. У тебя — филолог, библиотекарь. Он отнял деньги у Кати прямо в ЦБ («Сбер»), когда она получила компенсацию как репрессированная и позвала его с собой для надежности — деньги-то немалые. А он сгреб их. И Катя вскрикнула. Подошел мент банковский (ох, девяностые), Андрей корочки красно-мусорные показал — мент отвял. Он Катю успокоил: «Зачем тебе ТАКИЕ деньги, а мы в бизнес, в киосочки их направим...»

— Где будем? — спросил он (в ментовском тюфяке).

— А вон — в перелеске...

Нашли две жерди — «барьеры». И — бревно, чтобы посидеть после смертоубийства. Отсчитали по двенадцать шагов в противоположные стороны от бревна, положили на этих отметках по жерди. Все — поле сражения готово.

— Покурим?

— Можно.

— Ты хорошо стреляешь? (в те поры Ваня еще молчал о своем военно-морском прошлом: служил вот в авиации морской — и все дела).

— С обеих рук. Любой тип и вид стрелкового оружия. Любимое вооружение: ТТ, АК-47, ПКТ, реже — РПК.

— Не гони пургу.

— Ну-у-у... ставь на бревно... вон — банки консервные, шишки клади — сколько хочешь.

Андрею полегчало. Он расставил банки, разложил сосновые шишки.

— У меня три обоймы. Думаю хватит, — Ваня незаметно, но очень быстро — хрен моргнешь, вынул пистолет из-за ремня на талии, выстрелил шесть раз (столько было банок), затем упал на живот, откатился в сторону и одной пулей снес все шишки — сбоку, «в колонну». Одна осталась. Иван встал, подошел к бревну (толстому, диаметром сантиметров тридцать) и сверху, «вертикально» выстрелил пять раз («Когда он поменял обойму?» — подумал Андрей) — сделал розочку. Розочку смерти...

Или — «звездочку» — пять пулевых отверстий окрест-вокруг шишки. Что дальше? Постояли. Покурили. Все?

— Расходимся? — спросил Андрей.

— Да.

— Навсегда?

— Не знаю. Как Бог даст...

Ты уходил через еврейское кладбище. Шел медленно. Брел. Но — легко. Отдыхая от великой и преступной глупости, совершенной здесь и сейчас братьями. Ты брел и прислушивался: не выстрелит ли он себе в башку — там, за теплотрассой, в перелеске... Ты добрел до Лоханки — остатка от озера, заболоченного вдрызг. Здесь вы, пацаны, купались, начиная сезон нырков, заплывов и игр в конце апреля: вода в Лоханке была незамерзающей, античной, древней — и пахла она мамонтовой шкурой. Шкурищей. Ты сел на бережку. Пусто. Никого. Забросил в воду сначала стреляные гильзы (по привычке МП ты их собрал), потом разобрал оба ТТ и частями булькнул ими точно в центр озерца. Все. Больше никаких пистолетов. Прощай, так сказать, оружие. На душе стало тревожно: как — без ствола?! — Как, как — с каком просто жить. Не коли себе в попу соломинкой. Пустить себе пулю в лоб? Захочешь — найдешь волюну ипустишь то, что разрушит твой головной мозг. Мозг: ты — смозгляк. Трус. Напугал идиотика (так говаривала Катя: «идиотики», «свинята», «орелики» и т. п.). Зря? Не знаешь. Ты ничего не знаешь, кроме того, что мир — это каузативный эллипсис в сознании общества: что важнее, дух или бытие etc... Ты ничего не знаешь, кроме того, что Достоевский — попса, журналюга; что Золотой век литературы — элитарен (никто не читает Гоголя, Пушкина, Толстого, Тютчева и т. д., кроме поэтов и филологов — они это делают по надобности, прагматически, т. е. вхолостую, напрасно, но красиво: строят свой каузативный эллипсис, не понимая, что эллипсис — это пропуск

вещества, опущение вещества, это выпуклость и выпуклости, а также «впуклости», пустоты); остальная так называемая словесность полухудожественная — это «литература» идеологическая, политическая и экономическая, то бишь ДЕНЕЖНАЯ («Дэнги давай, да?! — Художнику, да?!»). Ты ничего не знаешь, кроме того, что самый крутой поэт, физик и человек — это БОГ. Бог, кто бы он ни был, чем бы он ни был. Еще ты знаешь, что трусы дырявятся от прыщей... Ты знаешь, что природа, стихии — безгрешны. Именно природа (вся, оптимально и максимально действующая везде и всегда) высвечивает грехи человека. Показывает их человеку...

Ты всегда помнишь (и чувствуешь во всем: в деревьях, в траве, в цветах, в воздухе, до и после дождя, в звездах, в слезах) — всегда помнишь и знаешь — шелковистый запах младенческой мочи (мочушки). Ты чувствуешь и знаешь ощущения, мысли, сознание, душу и вещество младенца, живущего между трех миров и летящего в трех мирах, в трех веществах, из которых вырастает, показывается еще один мир — мир-до-жизни. Младенец знает то, чего не знаем мы, рожденные, живые и смертные. Младенец гуляет между смертью и бессмертием, между до-смертием и жизнью, чреватой то смертью, то бессмертием. Младенец знает секрет, сущность такой жизни, он помнит его и ее. Младенец свободен от дикой энергии цивилизации, технических революций, войн, социализации и обязательной лжи во всем и обо всем. Младенец состоит из атомов свободы и любви...

Свобода любить. Свобода убивать. Любить, убивая. Убивать, любя. — Вот такая западня, капкан, онтологический эллипсис: что сильнее — любовь, убийство, жизнь без любви и убийства? Убийствие — это состояние любви, да и жизни... Sorry, seems to me the hardest word... Ты идешь на запад от еврейско-татарского кладбища — и падаешь на траву, как срубленный под корень тополек. Ложишься на спину и раскидываешь руки. Блин, билд, барабойство хреново! — Ты чуть не убил брата. А он? Он УЖЕ не хотел стреляться — кровь родовая сработала как тормоз. В голове включился вертолет (египетский, ангольский, индокитайский) — Space, Magic Fly... Будь он неладен... Прилетела птица. К тебе? Она опустилась рядом с головой, крутя башкой (монокулярное зрение) от руки, сжатой в кулак и выброшенной на запад (правая рука) — к голове, к глазам доплакательным, выпуклым от влаги; твои польско-русские-кавказские глаза («хитрые», — говорили женщины; «печальные», — говорили девы; «офигительные», — говорили любовницы). Сойка. Жар-птица, сойка-сочка, сойка-ойка прекрасная, а кричит голосом умирающей старушки, уже слабой, уже полунеживой, но полулюбящей себя, почти полуживую, мир этот, слишком живой и влюбленный в себя. Сойка рада, что ты не убит. И — брат твой не убит. Убийствие отошло. Отошло не в сторону, а на север — за вышки ПВО, за тайгу, за тундру — во льды, вечные (пока) и великие. Подлетела сорока — не сорока, а Дзержинский! — поджарая, злая и вся полонская, шляхтенская: мол, мы с тобой одной крови!.. Хрен тебе, — подумала сойка и двинулась боком к сороке — та забдела и сдунула прочь. Ты зевнул во всю Ивановскую, и еще, и еще, и еще — нервы? давление? На последнем зевке вдруг вскрикнул на все три Ивановские — и сам вздрогнул от своего вскрика: невозможно набить морду жизни, смерти, любви, наконец, Богу; замахнешься — рука отсохнет вместе с сердцем... А Бог и не заметит... Souvenir From Rio. Space. В башке. Ты плачешь, лежа на подкладбищенской траве, и слезы текут из глаз на запад, на восток и чуть-чуть на юг. Словно группа твоя отстреливается с двух зрячих горюшек — очей на лице пространства чужого, родного, един-

ственного. Убьют всех. Сегодня, точно, убьют всех. Тебя последнего — везение? — нет, забота о пацанах и отсутствие страха...

Сойка вспрыгнула тебе на плечо и заглянула в глаза, в ноздри, в рот. Неожиданно и ниоткуда прилетел чечень с красной головкой. Не подлетел — а прибыл. Чечень с пробитой головой. Красные перья на башке — не кровь. Это твоя голова пробита, но не снаружи, а изнутри. Чечень сел на грудь и теперь невесело рассматривал пуговицу на куртке, верхнюю, единственную — все остальное замок — молния. Сойка спросила: «Это ка-а-а-к?!» Чечень крутнулся на месте и молча ответил: «А вот так: этот парень хотел видеть и тебя, и меня, и Ее...»

Она подошла откуда-то то ли сверху, то ли снизу, но как-то вертикально.

— Ты поступил правильно, — Ваня подумал: «А что мне его убить, что ли, нужно было? Я уже наубивался...»

— Не сердчай, Ваня... Когда ты поступаешь правильно — значит это делаешь не ты.

— А кто?

— Он.

— Кто Он?

— Сам знаешь, не придуривайся.

Ваня лежал с закрытыми глазами. Она была рядом: то ли стояла, то ли сидела на воздухе, набившемся в куст, то ли ходила-расхаживала вокруг лежания Ваниного. Она была везде. Ваня, не открывая глаз, смотрел на нее и видел цветастый черно-алый халат, домашний, крепко поношенный, протертый, но не до дыр, не до прорех, а до сквозняка матерчатого, широкого, но еще не прозрачного и светившегося как фрагменты рыболовных (или бабочковых) сеточек. Своя эту сеточку он видел одновременно и Ее, и небо.

— А там, в писательском, так сказать, раю, бывает непогода? Там всегда утро? Или день? Или вечер? А ночь там бывает?

— Всегда, но попеременно, то утро, то ночь. Утром все живут. А ночью думают стихи. Или стихи думают их — обитателей, как ты выразился, рая.

— А непогода?

— Бывает. Особенно ночью. И дождь, и гроза, и снегопад, и метель; и гроза бывает.

— Чтобы лучше думалось?

— Да, чтобы сильнее, мощнее и глубже думалось и чтобы скорее записывалось.

— А компьютеры там есть?

— Нет. А к чему они: головной мозг, сердце и душа богаче и быстрее (работают совместно) электроники.

— А искусственный разум?

— Это оксюморон. Алогизм. Полная экономико-политическая чушь, которой вас здесь пичкают всякие Гельмуты Грехи, денежные типы, ростовщики и воры...

Ваня включил воображение. Зазвучал Рахманинов. Без Мацуева. Сергей Васильич играл на рояле сам и улыбался, и лицо у него было изрезано усталостью, морщинами, светотенью и глазами всех, кому удалось заглянуть в Ванино воображение. А Ванино воображение явило Ивану женщину, восточную, высококонькую, стройную с русско-татарскими глазами. Она вышла из ванной голая. Подошла к гладильной доске, взяла трусики и надела их молниеносно, но с оттяжкой и хлестко...

— Это твоя третья жена, — заметила Она, слегка отвернувшись от Ваниного видения. Она родит тебе сына. Ивана. И будет он Иван Иванович, как твой дед, прадед, прапрадед и все предки-мужчины.

— Мужики.

— Да. Мужики — дворяне. Офицеры.

Воображение ввело в концертную залу с Рахманиновым Фёдора Ивановича, друга твоего пра-пра-пра:

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

— А любовь? Как же любовь? А, Фёдор Иванович? Любовь духовна изначально, по определению...

Она сидела на полу
И груды писем разбирала
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

— Зола зеленоватая от чернил. А порой фиолетовая и бледно-синяя, или — черная с сединой. Седая зола... духовного опыта зола седая... Нет... Чуть...

Я виноват. Перед Богом, родными. Виноват перед многими женщинами. Виноват перед собаками. На зоне мы жрали по ночам вареную собачатину. Я собак не ловил и не убивал. Но ел. И кошатину ел. А крыс не жрал — пацаны рубали и нахваливали. А я — не мог... Я потом, после армии, пил. Все пили — девяностые. Ельцинские. Богемили все как могли: и пишущие и непишущие. Пошли какие-то сейшены и фесты. Был один раз. Выступал. Откусил полмикрофона и шваркнул его о палубу какого-то давным-давно затонувшего Дома, блин, культуры, где-то на окраине Свердловска. Ушел. На рассвете. Брел домой с незнакомой, как мне, пьяному, казалось дамочкой, а это была Марина, сестра Лиды — художницы. Шел и плакал. А она все успокаивала меня: у тебя классные стихи. Ты поэт. То, се... Пятое-десятое. С тех пор я не ходок на такие мироизъятия. Тошнит. Рожи эти. Потные. Пьяные. Орущие. Толпа. Чернь. Обыватели, прикоснувшиеся к святому, к поэзии — и ошпарившиеся парами смыслов и алкоголя... Ненавижу себя!..

— Обыватели — обывают. Обживают то, что уже обжито, переживают то, что уже пережито, открывают то, что уже открыто. Они, как выражаетесь вы, «торчат» от «Мастера

и Маргариты», романа с мещанско-злой, даже мстительной подоплекой. Романа для дураков, жующих свои несвежие носки и нахваливающих вкус и аромат манго, исходящей от этой одежной жвачки. Вы все обыватели. Да не все...

Трезвость пьянит. Долгая, затянувшаяся трезвость ничуть не хуже и не тяжелее вечно пьяного, полупьяного и похмельного состояния. Ты пережил двенадцать запоев, которые длились по три месяца, по четыре, а то и полгода. Трехэтажное, нет — многоэтажное похмелье закаливало тебя — и убивало. Однако ты оставался собой — Орловым: все были на кого-то похожи; Пятницкий — на Блока, Озимов — на Дина Риду, на Джека Лондона, на Хэмингуэя, на Маккартни и даже на Смоктуновского в молодости: покойный Петя — на типичного ковбоя и ловеласа; покойный Саша — на молодого Льва Толстого, еще не резонера, но уже весьма рассудительного товарища; Аркаша Застырец, Серега Кабаков, Саша Калужский, Валера Мухачев и некто безымянный, но огромный, по словам Майи Вяземской, составляли сказочную тройку (с заменами — быстрыми — как в баскетболе) богатырей: Добрыня, Илья, Алёша Попович. Иван Орлов был похож на Ивана Орлова: на любого из Иванов Орловых-Черминских, живших в последние пять-шесть столетий.

Наступила пора, когда уже нельзя было отговориться от греха и заслониться, оборониться фразой, имея себя в виду: «Окончания Праздника Он Не Заметил» (грубо говоря, нажрался-напился до чертиков, до зеленых соплей и беззвучных песен, когда упившийся певец сидит, раскачиваясь на полу, и думает-воображает, что он ПОЕТ).

Ты живешь как-то по-новому: работаешь на трех-пяти-семи работах (лекции в разных вузах + универ), а еще у тебя есть «пеньки» — голов пять-семь — репетиторство, которое дает легкие деньги-неденьги, тратишь их моментально: все вздорожало, но еда в магазинах появилась. Ты — ко всему прочему — строишь дом в Каменке (дочь Юля-Куля помогла тебе купить участок с коробкой под дом из пеноблоков советского образца — цементно-неподъемных и огромных). Ты увез в Каменку Андрюху Острикова, парня хорошего, каменщика, но аутиста средней степени: он был твоим студентом в девяностые в Академии искусств и художественных ремесел, где ты деканствовал на литературном факультете (ах, как все громко звучит — в действительности же это была шарага, деньгокачка, препы — с миру по нитке, студенты — балбесы с какими-то деньгами, — аж тошнит от таких новых вузов (их развелось в те поры в Свердловске — сотни, куда ни шагни — вывеска: «Институт экономики и политологии» и прочая хрень... Однако ночи были твои: ты обитал в своей комнате, где появился письменный стол (скоро его заберет бывшая теща — она выгребла после развода все: и мебель, и посуду, и холодильники, и телевизоры, и даже постельное белье). Ты пишешь. Плачешь от усталости и недосыпа. Слушаешь музыку — в себе и из музыкального центра, японского, купленного на арапа за бешенные деньги случайно — вы прогуливались с Олегом Дозморовым (еще до появления Бори Рыжего) и заглянули в магазин электроники. О, это был и вправду ЦЕНТР — огромный, звучный, если врубить звук на всю катушку — то форточки открывались! Ты что-то пишешь: монографии, учебники, научные статьи. Ночь — стихам отдана. Ночью ты плачешь. Чаше — в себя.

Сквозь толщу водки, сквозь ее ливни, морозь, дрожь, над ее разливами, заливами, плотинами и водохранилищами, под ее легкими и одновременно тяжелыми пластами, с ее крыльями, внутренними и внешними, ее способностью тебя ослеплять и прозревать, пере-

носиться в любые времена и пространства — ты понимаешь, что с водкой было легче и проще переживать безумие девяностых годов двадцатого века — Ельцинскую декаду.

Когда ты видишь последствия Ельцинского переворота (ГКЧП — Горби/Ельцин — Ельцин), в тебе пробуждается Purcell с его Chaconne Ing — траурное, светлое и бесконечно длящееся облако музыки — извинительной, горькой, несчастливо-счастливой и вечной, как утренний зимний свет за окном...

Никто — никто не верил в болтовню, исходившую из Политбюро ЦК КПСС (ранее — ВКП (б), еще раньше — РСДРП с большевиками и меньшевиками) в течение многих десятилетий; почти — столетие крепло в народе неверие, недоверие, отвращение по отношению к власти и властям, которые обострились в 1985 г., или раньше — в год смерти Брежнева (1982) — и окаменели, стали незыблемыми в девяностых годах двадцатого века. И сегодня, и еще 100 лет никто не будет доверять власти — никакой власти: хамство, ставшее советским, вдруг стало превращаться в воровство (по-крупному и по мелочи), в денежный феодализм, в узаконенное ростовщичество (Банки, банки и Гельмут Грех), в бандитско-чиновничий капитализм, в милицейско-полицейский ковбоизм (смычка — вечная в России — власти, криминала и силовиков — нерушима!), армия ослабла, пацанов послешкольников наубивали в Афгане и в Чечнях (дважды!) так много, что по улицам городков, городов и сел бродили только женщины (и в десятых, и в двадцатых годах Россия — вся — в женщинах: мужиков нет, и еще долго не будет, но феминизм крепнет, и скоро им наполнятся соцсети в Интернете и залы с постмодернистской, бессовестной, наглой и грязной «литературой»); коррупция на всех уровнях госвласти уже не удивляет, а — бодрит... Дождетесь, господа. Дождетесь...

Бетховен и Марчелло (Алессандро) в своих адажио — братья. А ты племянник их адажио. Нет — сын. Их музыка разясняет и проясняет все: и жизнь, и смерть, и любовь, и войну. «Полет валькирий» Вагнера — фуфло: Скрябин и Рахманинов появляются музыку сразу и войны, и мира. Это как с Достоевским: мерзко — деньги, деньги, деньги как вершина, как суть и как движитель страстей, — «Записки охотника» или «Смерть Ивана Ильича» — куда жизненнее, истиннее и трагичнее. Тебя удивляют достоевсколюбы: недострелянный, недорасстрелянный будущий криминальный писатель (русский король попы) так перепугался наказания, что стал писать только о преступлениях... Нет, Рахманинов и Толстой — универсальны и божественны. А Достоевский и Вагнер — однолинейны, увлекательны, но в положении упертости своей недомузыкой — в тупик, в скалу, в железобетонный бункер, в котором всегда пошевеливаются два-три примитивных и очевидных (для публики — потому и «попса») смысла.

Ты уже не можешь быть молодцом-холодцом, «твой отцом». Ты не молодец — твой отец. Ты, эп-перный театр (всегда у тебя в глазах это красивое строение начала XIX века — напротив универа), ты, получив *dubinarum po spinarum quantum satis*, оберег свою душу и свое воображение. Воображение — движитель души. Или наоборот?.. Или они едины, уникальны и универсальны?

Ты не знаешь и не понимаешь, и не различаешь, как ты говоришь в своем кабинете-кабинетике с музыкой, матрасом и письменным столом — мысленно или вслух. Ты читаешь

в универе лекцию и сомневаешься в том, что тебя слышат студенты, так как произносишь сразу два текста двух лекций, разных и прекрасных...

Вот такой, вот такая, вот такое, вот такие Loneliness. Ты — матрешка. Социальная кукла деревянная (внешняя оболочка) содержит в себе несколько (много, от семи до бесконечности) онтологических существ, которые уже не «внутренние матрешки», а одинокие, значит — свободные от общества (любого) феномены. Они вполне самостоятельные: один из них думает, другой ощущает, третий вспоминает, четвертый думает, но стихи и вообще текст, пятый обитает только в музыке — внутри ее болезненно-сладкой материи, шестой читает (с бумаги и с ума, с памяти), седьмой касается всего (чем? — плотью? духом?), что незримо, но необходимо и светостроительно; семьдесят седьмой живет и существует зверем, деревом, ветром, водой; девяносто пятый пребывает землей, состоящей из останков, ставших глиной и черноземом, землей, выдавливающей из себя колодцы; сто одиннадцатый (111!) управляет тобой по законам вечности и Абсолюта; сто девяносто девятый улавливает гармонию — во всем, что есть жизнь: в растениях, в минералах, в газах, в почве, в водах и других жидкостях, в людях, в текстах, в музыке; остальные — не умирают и слушают музыку, которая слушает тебя, запоминает мелодию, партитуру и аранжировку, а затем звучит в тебя, тобой и окрест тебя...

Язык работает в тебе, порождая речь, текст, песню и плач. И ты — работаешь в языке, порождая в нем и окрест семантику, музыку, смыслы, интонации, концепты, метафоры — образы и жизнь, не чреватую смертью.

Внутри тебя вещество жизни и смерти соединены любовью. Жизнь — умирает, смерть — умрет, но любовь останется...

Тебя слушает Перголези: «Stabat Mater» прикасается к каждой твоей кровинке, кровинчке. И ты плачешь. Тебя успокаивает Глен Гульд, исполняющий Баха: Бах смотрит на тебя как-то искоса, но с симпатией, почти с улыбкой; Гульд что-то нашептывает, наборматывает, помогая своим пальцам и твоему Баху добраться до тебя — до всего тебя, уже бессмертного. Бессмертного на эти три часа Loneliness. Три часа чистого неба и ясного чернозема...

В твои допьяные, пьяные и поспьяные годы ты узнаешь своих современников, своих сожизненников и сосмертников: Диму Месяца (Вадима), поэта и прозаика воздушного; Сергея Гандлевского, поэта и филолога наиумнейшего и горчайшего; Катю Перченкову, поэта и художника светлейшего; Леру Манович, поэта и прозаика сладкого, как материнское молоко; Юрия Кублановского, поэта трагического и всесветного; Надежду Кондакову, поэта и филолога от бога, человека добрейшего и редчайшего; Марину Кудимову, поэта и мыслителя мощного, как Бах; Геннадия Русакова, поэта невиданного; Костю Кравцова, поэта и филолога проникновенно-духовного; Сашу Кабанова, поэта умнейшего и двуглавого — одна голова смеется, другая плачет; Борю Кутенкова, поэта и филолога тонкого, нежного и нездешнего; Славу Глазырина, поэта юного, но трагического; Алешу Кудрякова, поэта Божьей милостью; Костю Комарова, поэта бесшабашного, авангардного и талантливо-витального; Ксюшу Аксенову, поэта нежного и духовного; Женю Туренку, поэта мандельштамовско-модернистского, а также Борисопоплавского сплава; Катю Симонову, поэта талантливого и уникального; Виталия Кальпиди, поэта мощного и строгого; Славу

Дрожащих, поэта и человека светоносного; Юру Беликова, поэта настоящего и филолога серьезного; Женю Касимова, поэта и рассказчика изумительного; Борю Рыжего, поэта от Бога — игрового, трагического, мрачно-улыбчивого; Аркашу Застырца, поэта и филолога, и прозаика, и драматурга тонкого, блестящего и веселого; Сашу Ерёменко (ангела: вы пили водку с ним неделями и месяцами — а он всегда источал запах младенца), поэта самого свободного в России; Алёшу Парщикова, поэта небывалого (а вот с Иваном Ждановы знакомства не вышло — Бог не дал); Володю Блинова, литератора на все руки, умного, остроумного и добряка с хитрецей (он однажды спасет тебя от самоповешания); Володю и Людмилу Бабенко, ученых, профессоров, людей своеобычных, ни на кого не похожих (с Володей ты дружил, а Людмила возглавила кафедру после смерти Веры Васильевны Глазыриной, которую затравили коллеги в течение двух лет, по наущению профессора-вертухая, грохнувшего ни за что, за простак, своего конвоируемого зэка в степи, почти в пустыне — из лени тащить его на стволе карабина еще дюжину километров, а также из интереса: а КАК это — убить; у Веры Васильевны отобрали кафедру, закрыли общекафедральную тему «Идеографические словари и тезаурусы», — «переворот» готовили долго — выжидали, когда Вера Васильевна останется без прикрытия: Людмила тогда разболелась всерьез и надолго, а ты «отдыхал» за границей, в Индии); Сашу Калужского, директора рок-групп «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джус» и др., — Саша гастролировал с одной из своих групп в США — там и остался, работал в универе где-то в Неваде, стал профессором, преподавал английский язык и англоязычную литературу; и еще многих и многих талантливых пишущих людей...

А еще была поэтическая группа «Интернационал» с гениальным Ромой Тягуновым, выпавшим на рубеже двух тысячелетий из окна пятого этажа; с Юлей Крутеевой, поэтом и женой Жени Айсмана, тоже поэта и уралмашевского орла; с Евсеем-Елисеем-Евгением Озимовым и еще кем-то ярким, но уже все-таки фоновым, контекстным. С Айсманом ты товариществовал. Писал о нем статьи. И Женя тебе помог — дважды: подогнал денег на две твои операции (шунтирование артерий кое-каких, важных, неважных и наиважнейших). Женя Айсман часто делал рассылки стихов, гениальных и ржачных, по своим друзьям-товарищам. В одном из писем (уже появился интернет) завспыхивало стихотворение Тимура Кибирова (событие как стихотворение и стихотворение как событие случилось в 2010 году):

Их-то Господь — вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то — гляди, сынок —
А наш-то на ослике цок да цок
Навстречу смерти своей.
А у тех-то Господь — он вон какой!

Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то — увы, сынок —
А наш-то на ослике цок да цок
Навстречу смерти своей.
А у этих Господь — ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Вкруг трона его веселой гурьбой
— Эван эвоз! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.
Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок —
Но наш-то на ослике цок да цок
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

Тимур Христианский? Православный? Нет: Тимур Поэтический. Онтологический. От Абсолюта, от Гармонии, от Гравитации Беды никуда не денешься. От Светлой Беды. Нет — Пресветлой.

Люди и художники. Это разные существа: первые не замечают вторых, которые любят первых.

У тебя не было друзей в детстве, в отрочестве (в школе) было два-три человека, которых ты уважал, среди них Света Кускова; были и девушки (Таня, Ольга, еще Таня, еще Ольга и т. п.), была первая, «вечная» любовь Галя: она год за годом вспоминалась (болью, сначала горьковатой, а позднее просто болью, а еще позднее — сладковатой, но не приторной, а неопределенно медовой-малинной-яблочной, — болью, которая помогает переносить любую другую боль); то забывалась; то мерцала в тебе, как лесная утренняя паутина-паутинка, обсыпанная средней водой: не дождем и не росой, а влажным дыханием необъятной уральской тайги; то вдруг заслоняла целый свет бледно-голубой пленкой-перепонкой — дышать невозможно. И на заводе были не друзья, а товарищи-друганы, и в армии (на флоте и в боевых командировках) друзей не было — были братья, общей кровью, своей и чужой, помазанные. Друзья появились неожиданно, но не сразу и не одновременно — в универе: Саша Сидельников и Петя Сульженко. С Сашей сошлись душевно почти с первой встречи, еще в Уралниихозе. А с Петей эта мутотень длилась несколько лет: Петька был «балован-

Не общение с живыми поэтами-современниками, а постоянное знание: они есть! — и уверенность в том, что они — в тебе, все — живые и мертвые. Это — драгоценнейшая ноша, которая носит тебя, несет и выносит на такую вольную волю, где — все есть музыка, ужас, красота и бессмертие в пределах твоей гибнущей жизни. Ольга Седакова (вслед за Майей Вяземской) показала — сквозь себя и собой — очертания бесконечного вещества поэзии. Вы — разные — Ольга и ты: у Седаковой была Азаровка, была Москва и Питер, и Тарту, и заграница с Италией и Францией, и другими европейскими державами поэзии. А у тебя — Уралмаш, Шатры, Уралмашзавод, Северный флот с тюрьмой и войной, и опять Свердловск Ельцинский, а потом и Ельцинская Россия на целое десятилетие. Ольга дарит тебе Петра Чейгина, и его невероятную поэзию (книга «Пернатый снег»), и все четыре тома ее сочинений. Гениев, как думаешь ты, не существует, а вот гениальные тексты есть — всюду и всегда, то бишь, как говорит Ольга Александровна, нигде и везде, никогда и всегда («На смерть котенка»). Бродский не любил словосочетание «современное искусство». Но: современность (любую сферу ее) не нужно не любить или даже ненавидеть, не уважать, — это бесполезно, т. к. современности просто-напросто нет, как не существует настоящее между грядущим и прошедшим. All you need is Love. Любовь в стихах Седаковой — это приручение вещества любви, скрепы жизни и пустоты, чреватой мраком и светом. Хотя бы свечи.

Несчастный стук в окно родного мрака. Так жизнь дождя и пустоты создают звуковую оболочку тому, что есть пустота и непустота как свет и мрак, проживающих в обнимку.

«Половой» период твоего существования (12 лет!) завершен: ты спал 12 лет на полу (вел «половой» образ жизни), на матрасе, то ли итальянском, то ли турецком, то ли китайском (с набивкой розовой внутри) — розового же цвета, как цвет нижнего белья располневших и постаревших продавщиц, надевающих белые халаты прямо на белье. Это молодит покупателя.

— Ваня, ты мне брат, отец, любовник, друг, муж... — говорит Кира, а ты отвечаешь, — И ты мне: мат, атеc, сисфера, жена и лубовница. А еще ты мне лешыдь.

Вы смеетесь. Третья жена? Она смеется. Долго. Через три года она родит тебе сына — Ваню. «Дядю Ваню» (домашнее имя), или Ивана Ивановича, ныне покойного (умерли все — остался один ты; брат исчез: вы не видитеcь и не разговариваете с ним годами, десятилетиями)...

Мы заманиваем младенца в эту «жизнь» сюсюканьем, песенками, сказочками, играми-игрушками, интернетом, тряпками, компьютером, попсой: во всем — и в литературе, и в музыке, и в «профессиональных деятельности». Все (особенно женщины) неожиданно и разом становятся психологами, коучами (тренерами-учителями-натаскивателями-инструкторами), все худеют — насильно, до анорексии; все это — в тренде, т.е. никому не нужно и бесполезно; все «хочут» разбогатеть — и бегут в «МММ», в «Быстроденьги», в банки — к ростовщикам и надувалам.

Тебе снится многолетнее, почти вечное, нежное животное с ласковым именем Баньян. Дерево баньян стоит на месте и одновременно идет — все — во все стороны: корнями, многими стволами, растущими у ветвей, ветвями, просветами небесными в кронах своих, тяжелых, древних и почти безлиственных. Дерево расходится — от себя — прочь от себя, не теряя себя... Ты просыпаешься: что это? к чему? где это? В Индии, в Индокитае, в Африке? Есть ли в Африке баньяны? И что значит «баньян»? А баньяны и бананы — это родственники? А русская баня (не римские термы), банька, бани? Твое воображение — дерево баньян. Растет — вширь и вверх, и вглубь — постоянно, — и, уходя от себя, от центрального (первого) ствола прочь, тем самым всегда возвращается к себе, не выходя из себя... Дерево — художник.

Появился интернет — исчез Ельцин. Появился ФБ (фейсбук), и через двадцать лет в нем чаще всех мелькают Комаров, Зейферт и Ройзман. Возникает вопрос: а не один ли это человек?

Ельцин играл в волейбол с Альбертом, твоим первым тестем (он пережил Ельцина, т.к. не скакал по танкам и беловежским пушам, а пролежал на деревенском диване пару десятков лет). Не учились — играли в волейбол, бухали. Два тупых, но прагматичных идиота. Играли. Бухали. И время пришло: Ельцин первый секретарь обкома КПСС Свердловской области. Он взорвал Дом Ипатьева (место расстрела Романовых — всех: и царя, и женщин, и детей, и врача, и слуг), потом взорвал пару храмов окрест своей родной деревни Бутка в районе Ирбита и Камышлова. Кириленко (тоже первый был обкомовец до Ельцина) перерезал весь скот в области — и его перевели в Москву. И Ельцина перевели туда же: а как же! — че навзрывал-то! Вот молодец! Настоящий мужик! Мужик, порожденный женой своей. Политик. Ну, Ленин и Троцкий прямо-таки. Сталин, блин! И — Хрущёв. Особенно — реформатор Хрущёв — вот политический папа Ельцина: маши колотушками на волейбольной площадке, в Свердловске, в Москве, в России, на выборах своих отплясывай стыдный

танец с тупым хрущёвским выражением лица. Нет, не выражением — литьем! Это же пляшущий памятник в стиле Миши Шемякина!..

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Вот вся история России. С царями, революционерами, маньяками и дебилами. С мором, голодом всеобщим, с бунтами, с войнами, с казнями. А «мощный человек» — это не Ельцин: Борис мелковат. Этот «мощный» еще явится, восстанет из мощей ублюдков — и добьет выживших...

В России создавали сначала государство пролетарское (официально — sic!)-азиатско-европейское (ты чуть было не сказал «еврейское»), а потом бандитско-банкирское... Все перепуталось (в головах народов), и некому сказать... Лермонтов сказал. Мандельштам сказал... Они все сказали — во все стороны: и ретрохронически, и футурологически — и погибли в настоящем. Если бы их не убили, то все обложки Библии на всей планете покраснели бы. (Обычно библия одевалась в черный, реже в белый, цвет — отелная книга на Западе, и подпольная — в России: ты провозил библию в восьмидесятых через кордон по «зеленой» дипломатической «улице», спасибо честным и умным ребятам, твоим ровесникам из МИДа)... Американцы создали государство бандитско-банковское, живущее на колониальный дрожжах, как Великобритания (великие британцы — 1000 лет, не менее великие американцы (изначально беглые, ссыльные [как австралийцы тож], криминальные авантюристы — и были съедены деньгами крайне быстро — крошек не осталось; русских («россиян») деньги доедают, уже доедают — скоро докупают, — и процесс расчеловечивания завершится... О, дайте толпе гульнуть — и она опростается эмоциями, освободит и оставит только поверхностные эмоции — чувства и глубинные метаэмоциональные

структуры извянут и погибнут. Коммунизм, социализм, феодализм и капитализм трансформируются в гедонизм: уже 90% жителей планеты или гедонируют, илидохнут с голода.

С голодухи только мы, дикари и рабы, питаемся музыкой и поэзией.

Пока ты не встретил Киру, ты продолжал расширять и углублять свое «умное безумие»: любовь (не только к женщинам, но как некий глобальный образ), болезни (от шунтирования артерий до онкологии: позвоночник хохлы отбили прикладами автоматов и карабинов в дисбате, — до какого-то диабета и проч.), поэзия, лингвистика текста и текстоведение (в сущности — поэзиеведение), долг перед детьми (уже трое от трех жен — последовательно: дочь — сын — сын), прогулки с памятью прошлого и грядущего и т. д. — все это облекалось и буквально точно — пеленалось в одиночество. Одиночество стало шаровым: и внутренним (оно было всегда), и внешним (ты сам его пригласил). Твое одиночество — это такой... такой... такой и эдакий полный и благодатный творческий эгоизм. Стихи думают тебя, а ты их. Вы понимаете друг друга — такое вот умное безумие, сладящее горечь и проливающее мед, холод и жар воображения. Все твои любви (все-все-все) соединились в одно целое — и ты выжил, точнее начал выживать, найдя Киру, нашедшую тебя...

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу...
И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»

Сознательная гибель твоя, сознательная боль ее — соединились.

Рокфеллер пережил семь сердец. Одно свое, остальные — чужие, подсаженные. Креативный был покойничек. Креативность (то бишь деньги, прагма, комфорт, развлечение и наслаждение) противопоставились творческому процессу во всех сферах, вытеснила Роіео («творить») и теперь, самозванка, стала «глобальным творчеством». Больно смотреть на креативных господ: Чубайс (Ельцинский комсомолец-капиталист) с восторгом отчитывался по нано-проекту (миллиарды чего-то — рублей, долларов, евро, фунтов): мы-де работали и произвели покрытие для обуви — вода отскакивает. Ну, от новой нано-ваксы до искусственного интеллекта — один шаг в нано-ботиночке. Смешно. Грустно. Печально. Закономерно: цивилизация пошла полным ходом в своем развитии по поверхностям бытия — по любым поверхностям, — от утюгов и ракет (любых) до упаковок всего на свете. Леша Парщиков создал поэму «Нефть»: чем я себя породил — тем и убью.

Ты никогда не прикуриваешь третьим с одного огонька — антиснайперская привычка: первая вспышка — ОН заметил тебя (вас), противника; вторая — поймал оптикой (ПНВ в том числе, если долго курится ночью); третья — выстрел: в лоб, он освещается горячей спичкой или зажигалкой лучше, краше и выпуклее всего остального, из чего состоит цель.

Ты много работаешь. Ты «пашешь». Ты не трудоголик (дебил несамодостаточный), ты — придурок, который хочет помочь всем и который хочет оставаться собой. Ты тоску-

ешь по рыбалке: не по рыбе, не по «добыче», а по воздуху над водой, земле под водой, лесу вдоль воды и по самой воде, мыслящей, знающей тебя и, может быть, даже любящей тебя... Работа — халтуры — ночное писание книг (первая монография написалась сама — за три месяца, а одиннадцатая еще и тебя «переписала», сделала тебя одиноким в т.н. науке, в филологии, где... Нет, помолчишь, не расколешься. Стихи думают тебя, и ты им не мешаешь. Ты абсолютно некреативный чувак, чувачок. Ты нищий. Первый развод чуть было не лишил тебя крыши над головой: Лоболитовы, Логопедовы или, как их там, решили сдернуть с тебя квартиру, но новый жених твоей бывшей жены, англичанин, ювелир, человек умный, добрый, щедрый и небедный, вдруг вмешался в процесс изъятия тебя из хаты твоей трехкомнатной в Центре (которую ты потом оставишь второй жене и сыну — и уедешь жить в Каменку, в дом, который построил сам): Джон (жених твоей жены, которую ты ощущал еще лет десять СВОЕЙ женой, живя — уже живя! — со второй женой), Джон Голдинг все решил за всех: мол, нельзя выгонять поэта на улицу; пусть, мол, живет себе в этой квартирке (у нас, Джули, в Лондоне есть особняк и много чего еще), живет и пишет свои стишки. И стишки писали тебя, доцентишку, препа, литератора, лауреата каких-то там премий, — стишки защищали тебя от публичной агрессии цивилизации, начинавшей Четвертую Техническую РРРеволюцию... Ты уходил в себя все глубже и глубже.

Глубина — это высота, еще не рожденная. Высота умирает глубиной — и возрождается вновь. Воскресает...

Журнал «Урал», провинциальное периодическое издание, работавшее полвека на обком КПСС и Союз писателей СССР. В девяностые журнал начал хиреть и умирать. Смерть его, еще не наступившая, подпитывалась финансовыми обмороками, сивым бредом литераторов советского толка и речи и прекрасным-ужасным бредом новолепетным, антиэстетическим, не-этическим, постмодернистским подпольем, рвавшимся в масскультуру, к новым изданиям и издательствам (коих было в те времена сотни на серый от счастья Екатеринбург, — Свердловск, поменявший не только идеологию названия, но и пол-секс-гендер мотивирующего, производящего наименования, топонима: советский топонимический окказионализм (Свердловск) насильно был заменен архаизмом, историзмом со всеми признаками некронима (Екатеринбург), — тройственная производящая основа раскачивала изодранный гамак городского сознания, цепляя амплитудно и регулярно то уральский камешек (распрекрасный), то городскую травку, то баночку консервную, изувеченную ножом, то пустую бутылку из-под водки. Екатерина, КТО ты? — Святая, Царица Великая или женушка великого мечтателя и безумного, юродивого Петра?..

Журнал «Урал» возглавляли в основном литераторы — члены СП, утвержденные Обкомом партии, единственной и неповторимой. И вдруг — пошли новые главреды (глав-ред-вред и т.п.): неписатель-критик, потом завхоз популярного колхозного издания, почившего в Бозе занозой надоедливой; драматург; драматург и, наконец, драматург. Благодаря известности талантливого и предприимчивого Коляды (Николая, Коли — его любили все), журнал был спасен!

Но: однажды вынесенный на обложку призыв заздравный «Ура, Урал!» отрывал к такой-то матери финаль лексемы, называющей опорный нищий край Державы, и вышло так: журнал «Ура». Без восклицательного знака.

Жизнь, смерть и любовь: жизнь невечна, а вот смерть и любовь, простите за плеоназм словообразовательный, бессмертны. Жизнь исчезает — смерть и любовь остаются. Но! — кого же они тогда умирают и любят — вечно, всегда, везде и нигде?..

Нет, естественно, букву финальную восстановили, но горожане до сих пор прикрывают уши от бессмертного эха, исходящего прежде всего от эха графического «ура!» и от тишины аудиальной, воцарившейся всюду после появления компьютеров и — начала новой эры уничтожения знания (ЗНАНИЯ, ибо информация — это знание минус опыт) — эры Интернета.

Однажды журналом (недолго) руководил человек, «убивший царя» (он сам в этом признался в одной из своих пьес), но недолго, его побаивались: вишь, убивец-то каков — почти что самый главный!

Убивец, однако, сей был заменен на Олега Б., тоже драматурга, но очень талантливого, создавшего пьесу, драму и трагедию «Домашняя почта, Или письма себе». Ты провел с Олегом (пригласившим тебя возглавить отдел поэзии) много лет в беседах — умных, смешных, горьких, сладостных, загадочных и зело эвристичных.

В общежитии Литинститута пили водку с Игорем Меламедом, читали свои стихи и о Тарковском не вспоминали. Евсей спал на солдатско-студенческой койке без матраца, прямо на ромбической стальной сетке. Петя где-то гулял и хвалил (по ночам) поэтесс, которые еще не мечтали быть ПОЭТКАМИ...

Ты не спишь семь недель. Пьешь ли — не пьешь, — а все равно не спишь. В твоей разросшейся до размеров комнаты, многоквартирного дома, окоема, и неба голове, нет — в башке повторяется — то в себя, то в мир — фраза: «Пишу к Вам по воле покойного — меня — из-за смерти, из-за времени и пространства, из пустоты...» Крутишь в башке то ли общим фоном, то ли лидерной партией бреда: «Since I've Been Loving You...» — и стоишь, колеблешь пятью ногами своим и пятью руками (у тебя пять плюс пять конечностей!), замираешь и раскачиваешься на пяти островах — Since (1), I (2), have been (3), Loving (4), You (5). Since — это время-остров; I — это инструмент перемены времени на вечность, have been — наличие всего всюду (и тебя, умноженного на пять); Loving — жизнь (без жизни), смерть (с бессмертием); любовь (ее глобальный образ); You — мир (твой — из пустоты и тебя, и Любви)... Мы все (те, кто думают музыку и стихи) живем на пяти, на семи, на девяти островах: онтологических, музыкально-поэтических, бытовых, социальных, эмоциональных (весьма поверхностных; скорлупковых и ненадежных), энергийных (звуки мысли и словесности, языка, ритма и музыки, невыразимых и неопознанных да и непознаваемых), гармонийных (гармония), пловучих (случайных — радостных, светлых, благостных и гибельных, светлогибельных и печальных), пустяковых (архипелагах) и проч. И мы — (!) — устойчивы. Падаешь — сразу взлетаешь, как трясогузка с удилица, как стрекоза с плеча, как паучок с локотка рябины: взлетаешь и возвращаешься на место свое. Возвращение — есть бессмертие (в рамках твоего существования), вечность (и она случается с нами), воскрешение (или «усилье воскрешенья», по Борису Леонидовичу П...) Кто все-таки упал, рухнул, низвергнулся — того и нет. Кто устоял, остался — в полете, в паденье, во взлете, в движении (внутреннем, естественно), — тот выбирает Главный Остров — ОО — Остров Онтологии, или ОН — Остров Невыразимого...

Чушь собачья... Да?.. Не думаю так. Это ОО и ОН думают меня ТАК...

Это последний гранд-запой. Ты стоишь, дрожа, под горячим душем. Пытаешься чистить зубы — жрешь пасту... Одеваешься, как осеннее дерево, тополь или дуб, что ли, пытаешься вернуть себе свою погибшую листву. Одеся. Ты весь мокрый. Выходишь на улицу. Пытаешься идти. Идешь мелко подрагивая и подпрыгивая (чуть-чуть), как умирающий кузнецик. Медленно-медленно доходишь до первого киоска (где есть все: и «шапка-гандонка, 1500 руб», и еда, отвратительная, и водка-водка-водка в стекляшках, в жестяных и на разлив), покупаешь и, отступив (отпрыгнув) за киоск, выпиваешь 0,5 водки из жестяной банки. Садись на деревянный тарный ящик. Закуриваешь. Прислушиваешься к ураганчику холодного жара алкоголя, который направлен вниз — к желудку, к сердцу, к печени, к мочевому пузырю... Славно. Дурно. Сдохнуть бы прямо щас. Здесь... Встаешь. Ты боишься трамваев, светофоров, людей, пустырей, кустов, снегопада. Но — идешь в универ. Лекцию читать. Лексикология. Парадигматические и синтагматические отношения лексических единиц... Писатель Максим Гордый сказал: «Человек — это звучит горько!..» И — больно. Ты бредешь к Яшке Свердлову, стоящему промеж Универа и Оперного театра и бормочешь невыносимо невесело стишки: Веневитинов Дмитрий, Аркаша Застырец...

Сначала жизнь пленяет нас:
В ней все тепло, все сердце греет
И, как заманчивый рассказ,
Наш ум причудливый лелеет.
Кой-что страшит издалика, —
Но в этом страхе наслаждение:
Он веселит воображение,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривой!
Мы привыкаем к чудесам.
Потом — на все глядим лениво,
Потом — и жизнь постыла нам:
Ее загадка и развязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

Не-е-ет! Не так. Не так скучно. Было куда как смертельнее и интереснее — не оторвешься от себя, почти убитого... Нет. Лучше «Нафталин» Застырцевский:

Табарен говорил: «Нафталин — это шар;
в глубине сундука ядовит он и светел».
Со слезами во рту Франсуа возражал:
«Нафталин — это Бог, нафталин — это ветер!»

Не полуночный шаг и беспечный ночлег,
Не настой водяной на серебряных ложках,
Не больной, не апрельский, не сумрачный снег
За булыжной стеной на садовых дорожках.

Табарен говорил: «Нафталин — это смерть;
погостил и пропал, и никто не заметил»
Франсуа закричал Табарену: «Не смей!
Нафталин — это Бог, нафталин — это ветер!»

Не стеклянный озноб и размеренный бред,
Не передника в красный горошек тряпица,
Не удара, не крови, не судорог след,
Что в песке оставляет подбитая птица.

Табарен говорил: «Нафталин — это ложь;
он глаза затуманит и голову вскружит».
Франсуа прошептал: «Ты меня не поймешь,
Ты меня не осилишь, тем хуже, тем хуже...»

Не железный венок и означенный звук,
Не горланящий, ночи не помнящий петел,
Не жестокий, не твой, не отрекшийся друг.
Нафталин — это Бог, нафталин — это ветер!

Да. Стеклянный озноб. Ты весь — стеклянный. Уже разбитый, но еще не рассыпавшийся... Фёдор Иваныч... Помоги...

О, сколько жизни было тут,
Невозвратно-пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..
Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, —
И страшно-грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

И пошел ты, стеклянный и разбитый, но еще не распавшийся окончательно, навстречу присущей милой тени...

На кафедре ты молчалив. Пока никого из коллег нет — есть только лаборантка Валентина Ивановна, ровесница твоя. Она заваривает чай (кофе еще в России не появился, есть только омерзительные суррогаты), достает бутылку сухого вина. Но! Спасибо! Понижать градус нельзя — с водки на вино — говно... Ты выдвигаешь ящик своего стола (стол твой стоит не на виду — за шкафчиком со словарями), наливаешь рюмку водки — из жестянки 0,25 литра, опрокидываешь рюмашку (о, сколько уже? — 3333 стакана? 5555 стаканов? Или 7777 огромных стопарей от 150 до 250 граммов?) После долбанной лекции (о, это святое — лекции, работа, работы, халтуры, «пеньки-репетиторства», то-се, бляха-муха) ты бредешь в бар «Иваныч», в прошлом это парикмахерская, рикмахерская, махерская, ну, и т.д. Сидишь в углу бара (5*5 метров), пьешь свое пойло и слушаешь по заказу (барменша тебя знает и, кажется, уважает) своему Chrisia Rea «Nothing to fear» и «And You my Love», по очереди (так записали специально для тебя), «Fear» — «Love» — «Fear» — «Love» — etc. Куришь свои «Winston» и мысленно танцуешь с НЕЙ. С кем? С Кем? С КЕМ? Ты уже давно умер и по просьбе себя — покойного, преставившегося, — из-за смерти, из-за колючей проволоки, из пустоты — плачешь. Постоянно, ровно, спокойно плачешь — без взрывов и почти без слез — в себя и из себя — 50 на 50. Тебя уже два. Тебя — двое. А жизнь — одна. И смерть — Одна. И любовь — одна. Где она? Как пел морпех Сакен Абылхапов «Кыдэ, кыдэ, кыдэ АНА?!..» (Видишь Москву, Литинститут: Меламед, Игорь, читает свои стихи: он уже тогда, или еще тогда, мандельштамил, но не тарковничал; Тарковский появится в Меламеде чуть позже.) В общем, тупосюжетный лирический боевик (когда уже он поостреет?).

Потом ты просишь пустить по кругу песеночку Yello «You better hide from me». (Ох, как же ты наму.охался, уе.ошилсся с самим собой: «иди уже куда-нибудь», — это Гандлевский). Ах, какая нежная, пунктирная здесь труба, и клавишные ништяк... Мимо тебя, сквозь стены, проходит поэт Андрей Коровин — улыбается тебе; поэт Гена Каневский — грозит пальцем: он в капитанке; Гера Власов, поэт и женолюб, кланяется тебя. Господи, да они же из будущего! — из десятих годов XXI века! А щас — девяностые! В бар заходит дама с дитем. Пьяна. Ты подаешь ей купюру (крупную) и думаешь: то ли материнство, то ли матерсвинство. Сия мамаша норовит припасть к твоему крохотному столику. Ты всматриваешься в ее лицо — Кира! Но! Кира — из 2017 года! В 2021 году (тебе будет 66 лет!) родится сын Ваня, Иван Иваныч, как твои дед, прадед, прапрадед и остальные пра-пра. И тут тебе, в один из дней 2021 года покажет стихи свои Иван Клочков из Архангельска, где были расстреляны два Ивана Иваныча (прадед и прапрадед), генерал и епископ, а твой дед Иван Иваныч приедет в Архангельск — и рванет обратно: бо расстреляют и его за кумпанию!.. Зачем приезжал? А за стихами Вани Клочкова приезжал, которые напишутся через 100 лет и лягут на твой редакторский, преподавательский и, так сказать, «научный» стол. Вот они, эти стишкистихисловамузыкамысльитд:

Почувствуешь, как воздух невесом,
когда меня не станет, постепенно
две музыки сыграют в унисон,
два времени пройдут одновременно,
а после — только снег и тишина,
иллюзия трехмерного пространства,
я буду не с тобой, а выше на
две музыки, два времени, два царства,
и ты, еще земная, затая
дыхание, услышишь, как смиренно
две музыки сливаются, а я
два времени иду одновременно.

Сын Ванечка будет похож на деда и на тебя. И твоя одинокость удвоится, утроится, умножится на сотни жизней твоих предков, твоих женщин, твоих детей, Киры, Ванечки и последней твоей собаки — аляскинского маламута и баламута — Нордиса.

Вокруг тебя (и далее) начала образовываться пустота. Но это была не пустота социальная, которая существовала всегда с теми и окрест тех, кто думает музыку и стихи, но пустота твоя, личностная и личная, персональная: ты тихо гибнешь от себя, мучающего себя, от водки, от женщин, от жен (поочередно: первая просто ушла [но как-то долго уходила и молча], второй было на тебя, уж точно, если не наплевать, то обливать равнодушным взглядом, упаковывать тебя в фольгу абсолютного спокойствия — с подпрыгивающими веками, когда ты исчезал на неделю-две-три, когда ты не мог достать — срочно — денег, когда ты писал день и ночь напролет неделями, когда ты, осовев и освинев от себя, выходил из своего кабинета, уже седеющий, с красными узкими глазами, с отечным лицом, с вяло дрожащими руками). Пустотой был ты. Ты — сам себе — пустота. И вот в этой серо-голубой, табачной пустоте вдруг образовался Олег. Учащийся лицея при универе, юный стихотворец, с которым вы почти сразу (с третьего взгляда) подружились. Олег Дозморов был еще не Дозморов двадцать первого века, он был еще До-дозморов, преддозморов, чертовски начитанный, рассудительный, но умный, похожий на Дельвига с нутром Боратынского.

Зимой зимы немного
Пока не снегопад
Лишь стужа и тревога
Приходит наугад

Зимой зимы избыток
И близится предел
Когда дорожный свиток
Стирается в пробел

И в небесах невнятно
И кажется порой
Что снег идет обратно
Не принятый землей...

Ты был как раз этим снегом: вы дружили годы, пока не появился Боря. Боря Рыжий. Олег сблизился с Борисом так, что бритвочку между ними не просунешь. Не то что — тебя, девяностокилограммового. Тебе не было обидно такое охлаждение: молодость — штука вольная и безбольная. Молодые бросаются в каждую новую воду легко и безоглядно, им кажется, что это — кипяток, а на самом деле — это вода ледяная, которая убивает и скоро-быстро старит пловца.

Они, до появления Рыжего Б.Б., ежедневно бродили по городу, обходя ВСЕ книжные магазины. Олег был нищ и гол, как пленный монгол Тимурджин (в будущем великий хан Чингиз), поэтому ты покупал книжки в двух экземплярах и шутил: вот, мол, стану старый — купишь мне буханку хлеба, да? — Олег смеялся, но, делая умно-растерянное по-Дельвиговски выражение лица, всегда отвечал почти серьезно: без базара, Ваня — с голоду не помрем. Вы с Олегом придумали в универе НЛЮ (новое литературное объединение) и привели туда, «в гости», Бориса Рыжего, Лену Тиновскую и других (о, знать бы наперед: после гибели Бори все разъедутся, вы с Олегом рассоритесь из-за фигни и разойдетесь по разным городам — Олег уедет в Москву, а потом в УК, Уэльс, Англия, Лондон; жена Олега, инъязовка, Марина увезет его из разваливавшейся страны...)

Родная речь, отойди от меня,
поди прочь, не приближайся ко мне,
я боюсь сейчас твоего огня,
между тем сгораю в твоём огне.

Так покойник садится, почти встает
в крематорской печке, зовет рукой,
открывает рот и почти поет.
Что со мной, что со мной, что со мной?

После этого стихотворения Олега (и — приезда его в Россию, в Екб) они помирились. Олег был иной. И ты стал другим: он успокоился после Рыжей Истории, а ты получил дважды друга.

После смерти Бориса часть знавших его — уехала, другая часть верещала, рыдая и скорбя, остальные — молчали и пытались не нарушить в себе равновесие жизни и смерти.

Поэтический дар (талант) чаще всего остального преобразуется в стихотворную горячку, из которой есть два-три, реже четыре, выхода (а может быть, и пять-семь?): ты находишься под давлением желания известности, славы, похвалы, наконец, сочувствия — и начинается веселое и одновременно печальное твое мучение, твоя жажда быть таким, каким тебя любят и обласкивают, или не быть типичным литератором, удобным для данного времени и места, для людей, которых ты считаешь ЧИТАТЕЛЕМ. Есть и смешанные,

неоднородные пути-судьбы. Нравиться читателю — это особый вид сервизизма, или обслуживания покупателя стихов, журналов, книг — и СЕБЯ: в этом случае тобой в конце концов овладевают деньги, слава (пусть короткая — хоть на пяток минут, но! — слава), ты обретаешь социальный статус поэта как раз в тот момент, когда перестаешь быть им. Борис Петрович Рыжий, после гибели сына, вместе с Маргаритой Михайловной, матерью Бори, поэта, — зовут тебя в свой дом почти ежедневно. И ты соглашаешься (среди рыданий и горя общего) написать биографию самоповешенного поэта. Олег был в таком глубоко обморочном состоянии, что смотреть на него было больно: однако вы с Олегом и Б. Л. разбираете архив Бориса Р. и как-то работаете с ним. Тяжко работаете. 1200 стихотворений. В неполные 27 лет. Как сказала одна редакторша в Москве: «Лермонтов! Боря очень похож на Лермонтова!..» Б. П. и М. М., родители, казалось растворяются в воздухе — в воздухе слез, воспоминаний и ужаса. Б. П. как-то сказал Боре (при Олеге): главное не то, что ты делаешь, а то, что скажут об этом люди... Олег уедет. Ты напишешь книгу и разлюбишь себя окончательно: слабак ты, Ваня, слабак...

И, как сказал однажды Олег,
Давай пропустим этот век
Ты видишь он идет как снег
Неотвратим по головам
По судьбам городам словам

Мы лучше будем жить в другом
Спокойном светлом и большом
В котором вечер длится год
В котором вечно снег идет

Век пропустили. Двадцать первый оказался ночью, в которой часто, как снегопад, светились экраны, мониторы и мониторчики телефонов, телевизоров, компьютеров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и прочей американско-китайской-китайской-китайской чепухи.

Вглядишься в тьму ночную
Во тьме белым-бело
И снегопад вслепую
Шарахнется в стекло

Когда снежок несмелый
К утру сойдет на нет
Увидишь город белый
И вправду белый свет

Видать еще немного
И явят небеса
Всевидающего Бога
Кромешные глаза...

А ты все смотришь в подозрную деревянную трубу гобоя Алессандро Марчелло. Что там, Саша? — Снег...

Ты умер. Не «как бы» умер — а умер всерьез и навсегда: твоя оболочка мертва — она ходит на работу, в универ, в журнал, на телевидение (где ты халтуришь телеведущим развлекательной раннеутренней программы), в союз писателей (где ты руководишь союзом и Домом писателя, который родился от Володи Блинова и тебя, а теперь вот вдруг заработал), ты мотаешься по областным министрам, пишешь по десять писем в официальные (читай — чиновничьи) адреса, ты пишешь мэру Екб о том, что писатели уйдут из этого города — вот и балдейте здесь от души, казнокрады, бизнесмены и бандиты. Ох, нулевые годы двадцать первого столетия! Ты умер. И делаешь все это, будучи мертвецом. И не ты, а ты иной, внутренний, пишет по воле тебя, покойного, — тебе, думающему стихи — из-за тьмы, пустоты, из-за смерти, из-за колючей проволоки, из-за жизни иной, которой ты живешь с трехлетнего возраста своего. О, Тютчев! Дедушкин Тютчев. Наш Тютчев — Орловский, Черминский... Нам не дано..., да и не нужно предугадывать: слово говорится: сначала где-то летает, потом думается, затем произносится — и не умирает. И не нужно тебе сочувствие, потому что ты уже — в Благодати...

* * *

Саша Сидельников умер в 2002 году. Петя Сульженко, после ввода грузинских войск в Абхазию, пытался как-то зацепиться за отчий каменный дом в два этажа, за виноградник, за море черное, за бамбуки, росшие на задах дома вдоль ручья, впадавшего в речку Псоу, по ней проходила граница России и Абхазии. Не получилось. Петю дважды расстреливали грузины, ткнув его лицом в кирпично-железный гараж с мансардой наверху. Стреляли боевыми, но выше. И от этого легче не стало — ни Пете, ни грузинам. У Пети был калаш с тремя снаряженными рожками — решил продать (и вообще собрать как можно больше денег — в баксах) и уходить в Россию. Он пришел на грузинский блок-пост (автомат завернул в тряпицу), поспрошал (по-грузински), кому, мол, калашок нужен?.. Один небритый и тщедушный отозвался. Петя отошел с ним за деревья, ближе к морю, почти на пляж-полуостровок, образовавшийся в том месте, где Псоу впадала в море. Грузин попросил: продемонстрируй, дорогой, да? Петя распеленал автомат и дал короткую очередь в сторону пустой серой морской воды. На блок-посту в пять глоток заголосили-завизжали: «Чечена би! Чечена би! Чечена би!..» Грузины боялись чеченцев, которые прибыли сюда (в горы) поддержать братьев — мусульман-абхазов. Сорок грузинских героев разбежались вмиг. Пусто. Тихо. Просторно. Никого. Автомат купился... Ночью Петя с женой и двумя сынишками перешел вброд Псоу и оказался в России. Утром семья Пети улетела из Адлера в Киров, в Вятку, к духу Салтыкова-Щедрина.

Петя сломался в России через два года: он запил. Честно говоря, он пил всегда, но! — пил все, что дарит пьяницам виноград: вино (вина), чачу, коньяк. В Вятке Петя перешел на водку. Подсел. И — пропал... Ты вызвал его к себе в Яковомихайловичсвердловск. Ты уже не пил года два-три. Петя поселился в большой центральной комнате с выходом на большую длинную лоджию. Здесь были только книги (три стеллажа огромных), диван, стол, пара стульев и на полке под потолком попугай Васька в клетке. Петя, бросивший все и отказавшийся от всего, жил по-хлебниковски свободно-вольно, ел что дают, читал что хотел, изредка писал свои небольшие и горько-смешные рассказы. Пить водку ты ему не позволял. Да и сам Петя, рассмотрев тебя, пишущего что-то как в запарке, бегающего на лекции в универ, и опять пишущего днем и ночью (книжку о Рыжем Боре, монографию «Последнее стихотворение» и др.), однажды сказал тебе за кофе-чаем и сигаретой:

— Да, теперь я вижу, как пишут настоящие писатели...

— Графоманы тож.

— Эт-точно, — они рассмеялись.

Петя после разрыва с женой в Вятке погрузился в уныние, но теперь, выпив-допив сие уныние окрест себя, вдруг прозрел: сколько лет коту под хвост!.. Кот Григорий не обиделся и, вытащив из-под дивана заначку (куриную косточку), положил ее к Петиним ногам...

Ты читаешь Пете хлебниковское:

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам,
На стеклах рока.
Так серы и скучны обои из мертвых растений
Человеческой жизни; пылью своей
Быть живописцем себя
На стеклах рока, большеокого рока.
Вдруг увидеть открытую дверцу
В другой мир, где пение птиц и синий сквозняк,
Где мило все, даже смерть
В зубах стрекозы.
О, улетевшая прочь пыль
И навсегда полинявшие крылья!
Окон прозрачное «нет»,
За ними шелест и пляска
Бабочек любви стучится.
Пляшет любовь бабочек высоко в ветре.
Я уже стер свое синее зарево и точек узоры
Вдоль края крыла.
Скучны и жестоки мои крылья,
Пыльца снята. Навсегда.

Бьюсь устало в окно человека.
Ветка цветущих чисел
Бьется через окно
Чужого жилища.

Петя заплакал. Он плачет с «комнаты человеческой жизни» — в комнате человеческой жизни... И ты заплакал: «пылью своей быть живописцем себя...» О, бьюсь устало в окно красоты...

Русь, ты вся поцелуй на морозе!
Синеют ночные дорожи.
Синею молнией слиты уста,
Синеют вместе тот и та.
Ночами молния взлетает
Порой из ласки пары уст.
И шубы вдруг проворно
Обегает, синея, молния без чувств.
А ночь блестит умно и черно.

За окном человеческой жизни — лето. За летом — Русь. За Русью — зима. В зиме — мороз. Мороз — поцелуй. И Русь — поцелуй. И поцелуй — поцелуй... Петя, поцелуй свой поцелуй... Петя умрет через три года. Во сне. Сердце не выдержит такого долгого и тяжелого поцелуя жизни в комнате человеческой смерти...

(Продолжение следует.)

Евгений СТЕПАНОВ

СЕНТЯБРЬ-ОКТАБРЬ 2024

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ КНИГА

(Из серии «Издательские будни»)

Заключил договор с одной милой дамой, «пустившейся на дебют», на издание книги ее прозы. Договор на солидную сумму.

Дама спрашивает:

— А почему Вы решили издать мою книгу? Вам в самом деле понравилось?

— Да, — не моргнув глазом, — отвечаю я. — Это очень хорошая книга.

2024

КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ

Позвонил А.М.Ф., мой старинный друг, солидный предприниматель, генеральный директор крупной инвестиционной компании. Ему 88 лет. А дружим мы 20 лет. Если не больше.

— Женечка, как ты? А я опять читаю твою книгу стихов. Это про меня. Это даже не стихи. Это сама жизнь.

— Спасибо, дорогой Маркович! Как-то так странно получилось, что Вы — один из самых близких мне людей. Несмотря на разницу в возрасте. Мы одной группы крови.

Потом еще немного поговорили о делах, о здоровье.

На душе стало легче. Это очень важно — когда тебя понимают. И принимают.

2024

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и координатор портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

А ЦЕНА БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕ? (Из серии «Издательские будни»)

Звонит знакомая молоденькая поэтесса.

Просит сделать расчеты на ее книгу стихов.

Говорю:

— Пришлите рукопись, пожалуйста! И напишите, какой Вы хотите тираж и вид переплета.

Присылает.

Делаю и отсылаю поэтессе расчеты. Формат 140+200. 160 страниц. Офсетная бумага 80 гр. Мягкая обложка. Тираж 100 экз.

Звонит мне:

— Евгений Викторович, меня все устраивает. Но скажите, пожалуйста, если тираж будет не 100, а 1000 экз., то цена изменится?

.....
.....

Отвечаю спокойно. Без раздражения. Сдерживаюсь. Все-таки у меня большой опыт — я 21 год работаю директором издательства. Видел и слышал всякое.

— Да, цена изменится.

— Хорошо, — отвечает поэтесса. — Сделайте тогда новые расчеты. На 1000 экз.

Делаю новые расчеты. Присылаю поэтессе.

Она задает новый вопрос:

— А если бумага будет мелованная, а не офсетная, цена изменится?

— Да, — отвечаю невозмутимо, — изменится.

...В итоге мы сделали этой поэтессе книгу тиражом 1000 экз. на офсетной бумаге.

В процессе работы даже подружились. Оказалось, что она училась на семинаре детской поэзии Литературного института.

2024

НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ (Из серии «Издательские будни»)

Пишет мне письмо малоизвестный мне писатель.

— Евгений Викторович, издайте мою книгу прозы на выгодных для Вас условиях!

Насторожившись, уточняю:

— А что значит в Вашем понимании — выгодные для меня условия?

— Ну, это так, чтобы Вы были довольны.

Опять уточняю:

— То есть Вы готовы оплатить расходы по выпуску книги?

Отвечает:

— Нет, не готов. У меня пенсия хорошая, но платить за свою книгу я не хочу.

Ну что тут скажешь? У меня пенсии вообще нет. И самое главное — в чем же моя в данном случае выгода? В том, чтобы оплатить автору его книгу?

Подобных писем много. Иногда складывается впечатление, что некоторые люди до сих пор живут в СССР, где писатели еще были кому-то нужны. Ну, не нужны сейчас ни писатели, ни их замечательные книги. Это вымершая профессия. А то, чем мы занимаемся, это хобби. Хоть какие ты тут законы ни принимай!..

Печатная книга стала дорогим сувениром.

Цукерберг победил Гутенберга.

2024

ПОЭТЫ

95% пишущих стихи — обыкновенные графоманы.

Есть еще умелые графоманы.

Поэтов — единицы.

И даже у них хороших стихов — раз-два и обчелся.

И это нормально. Не может быть много хороших композиторов, художников, архитекторов... Не может быть много шедевров.

Когда мне говорят, что я хороший поэт, я улыбаюсь. Я вообще не поэт, я стихотворец.

2024

ПО-ПРЕЖНЕМУ

Я печатаюсь с 1981 года.

Веду литературную студию с 1983 года.

Работаю редактором с 1988 года.

Но по-прежнему ощущаю себя молодым стихотворцем.

Очень редко что-то получается.

2024

АРМИИ ПОКЛОННИКОВ

У любого графомана — теперь армия поклонников в социальных сетях.

Чем безнадежнее графоман, тем армия поклонников больше.

Это неудивительно.

Чтобы понять хорошего поэта, надо быть ему равновеликим.

В тысячный раз повторю — хороших поэтов не может быть много.

2024

НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО

Какая наивность — думать, что читатели любят поэзию.

Читатели любят простые, незатейливые рифмованные тексты. Особенно — когда их поют под гитару.

2024

УРОЖАЙ-2024

Сегодня 7.10.2024. Огуречный сезон на даче завершен. Теплицы освобождены от выполнивших свою работу растений.

Итого: выращено 582 огурца.

А черри по-прежнему растут.

На сегодняшний день я вырастил 277 черри.

Ведущий — Павел ЩЕРБАКОВ

ОБОЗРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ

В журнале «Звезда» 9/2024 напечатаны стихи Александра Кушнера.

Стихотворения простые, понятные и очень светлые. В подборке поэт много рассуждает о своем ремесле, с умиротворенной улыбкой говорит о смерти, прямым текстом ссылается на классиков:

Мне восемьдесят семь. От смерти только смерти
Я жду, как нам поэт в стихах своих сказал.
Не верите ему? Бог с вами, и не верьте!
Но смерть для старика не смерть, а милосердь.
Зачем еще раз жить? От жизни он устал.

Эпиграфом к одному стихотворению служат строки Вяземского, но как же отлично жизнеощущение классика XIX века от настроений Александра Кушнера:

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.

В одном стихотворении поэт пересказывает Пушкина, при этом факт своего пересказа он тоже проговаривает:

Моя душа в стихах останется
И никуда уже не денется:
Она служанка их, начальница,
И диктовальщица, и пленница.

«В заветной лире» — было сказано,
И дорожу я этой фразою.
Душа с любимым делом связана,
Как тополь с дачною террасою.

Стихи Александра Кушнера трогают до глубины души.

Павел Щербаков — поэт, литературный критик. Родился в 1999 году в Калининградской области. Окончил факультет управления экономики и права РАНХиГС. Студент Литературного института имени А. М. Горького. Писал статьи для университетского журнала, в настоящее время пишет стихи, произведения для детей, занимается стихотворными переводами. Печатался в сборнике поэзии и прозы литераторов Калининградской области «Голоса города», в альманахе «Литерра Балтика», журналах «Дети Ра», «Зарубежные записки», в газете «Литературные известия». Живет в Москве.

В журнале **Зинзивер 5/2024** опубликована подборка **Константина Комарова** «Поверь, я не прошу о многом».

Много звонких строк, иногда под Маяковского:

* * *

В какой грязи ни изваляйся,
в какой ни отдыхай тени —
во рту торчит, как изваянье,
одно глухое «извини».

И озирая мутным взглядом
притихший, невесомый зал,
ты чувствуешь, как друга рядом,
залипший в горле звукозалп.

Некоторые места в подборке не могут не вызывать улыбку, как, например, строчка про бомжей, возможно, этого автор и добивался:

Брега молочные закисло,
кому нужны теперь, скажи,
мои полуночные мысли —
сознания хилого бомжи.

В стихах Константина Комарова легко обнаруживается довольно простой прием, автор несколько искусственно сближает созвучные слова:

Кто же тут резюме нарисует,
если умер, как сказано, бог,
если стих мой изюмом безумья
запечен в этот сладкий пирог.

«Изюмом безумья», «солевой соловей», «бирюзовы березы», «по кисее морей кисельных», «отчаянья печенья», «в типологии теплот», «с груш посбивав гроши», «кота — икоту» — все это, конечно же, отдает «бальмонтовщиной» — «Вечер. Взморье. Вздохи ветра. / Величавый возглас волн...»

На скорую руку я тоже попытался создать подобный ряд: нега ноги, печени печаль, музыка муки, сонаты соль, ностальгия насморка, шпагат шпаги, мечта мечта, сомнение камелии, скорбь карамели, отчаяние чая, радость редиски и т. д., и т. п.

Мне не совсем понятна ценность подобного приема.

Впрочем, автору — виднее.

Татьяна Михайловская, «Снежное нежное»

Стихотворения разных лет

М.: Издательство «Перо», 2022

Лирика Татьяны Михайловской не частый гость на книжных полках. Предыдущая книга «Земные времена» выходила десять лет назад. Татьяна органично совмещает в своем творчестве стихи и прозу — лед, так сказать, и пламя. А также поверяет алгеброй гармонию, будучи концептуальным критиком. При этом собственная лирика как бы прячется в тени, в то время как прирожденный поэт занимается текстами коллег. И каждая новая поэтическая книга Татьяны воспринимается как подарок ее поклонниками, к которым издавна принадлежит автор этих строк.

Снежное нежное хочется писать без кавычек. Поэту дано услышать, как снежное переходит в нежное или как нежное зарождается в снежном! И вот уже вся книга полнится превращениями, словно в пушкинских «Бесах». Начинается книга ярким моностихом, в котором в свернутом виде сходятся все лирические линии книги:

Снег ген нег

Вскрывается генетический код неги и снега. Снег и стих роднятся, как в стихотворении «Снег выпал»:

Прекрасен мир, как в первый день творенья...

Лег снег на чистые поля,
и на кусты, на тополя,
и на мое стихотворенье.

Снег проявляется в стихах Михайловской в разных видах и состояниях. И навевает особые состояния:

Снежное нежное меня обнимает,
поднимает в алмазную высь,
мысль мою прижимает к земле,
Млечной Дороги уже не видать,
не угадать в лунном сиянье...
Инь-ян вечный поток...

Поэт выныривает из потока, чтобы запечатлеть непостижимое. Как в стихотворении «В самое темное время в году...», где

В полночь метели густая завеса
вдруг раздвигается силою слов...

и далее о словах, которые

непостижимо — горят, как огонь,
тают, как лед, и летят, как молитва.

Снова слово преобразуется в природном и сакральном, подобно движениям стихий.

**Без муз. Футуристы в нижегородском сборнике 1918 года.
(Репринтное воспроизведение, исследования и комментариев) /
сост. и науч. ред. А. А. Россомахин.
СПб.: НИУ Нижегородский кампус «Высшая школа экономики»,
Издательство «Да», 2024**

100 с лишним лет спустя впервые репринтно воспроизведен сборник, объединивший футуристов и символистов. Сборник, задуманный как периодическое издание, не пошел дальше первого номера и остался как своеобразный памятник времени. Возможно, если бы издание имело продолжение, мы бы получили некий новый извод поэзии того времени. Потому что наряду с Хлебниковым, Асеевым, Большаковым, Третьяковым, Шершеневичем, Лавреневым, Ивным напечатаны еще произведения авторов, чьи имена бывает не так просто отыскать. А эти тексты интересны, просто их авторы не успели осуществиться в полной мере ко времени выхода альманаха. Например, тексты Николая Беляева, Амфиана Решетова, Неола Рудина... О. Замятина и А. Россомахин провели серьезное исследование и восстановили биографии участников и составителей сборника. Вообще благодаря большому блоку работ вокруг репринта, мы теперь гораздо больше знаем и о персонах авангардного движения, и о их творчестве. Блок дополнен обширной визуальной подборкой (портреты, обложки, репродукции картин, документы). Благодаря публикациям из архива А. Е. Парниса получены дополнительные штрихи к портрету Велимира Хлебникова (первые опубликованы подготовительные заметки Хлебникова к его манифесту «Братство «Рыцарей Духа»). Отметим, что в новом издании приняли участие ветераны авангардоведения, члены Академии Зауми Александр Парнис, Андрей Крусанов, Андрей Россомахин, а также нижегородские исследователи Любовь Барышникова, Оксана Замятина и Леонид Большухин.

Алексей Пурин, «Астры»
Книга стихов. Издание второе, умноженное
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2024

Книга Алексея Пурина «Астры», выдержанная временем и дополненная сообразно вновь возникшим обстоятельствам, напоминает нам о мимолетности всего сущего. Название этих цветов произошло от греческого слова «звезда», и в данном случае название выглядит символичным, поскольку автор с 1989 года заведует отделом поэзии, а с 2002 года также и отделом критики журнала «Звезда». На языке цветов астра символизирует любовь, изящество, изысканность, а также воспоминания. И это неудивительно, учитывая, что астры — цветы осени, яркая вспышка перед сезоном холодов. Последняя уходящая красота.

В стихотворениях Пурина даже сожаление о прошлом выглядит изысканно. Удивительно, но это чувство, при всей его трагичности, разворачивается у поэта на солнечном фоне: дважды повторенное, слово «свет» будто бьет читателю в оба глаза, и слепит, и заставляет зажмуриться... У астры и Астреи, древнегреческой богини справедливости, один корень. Обе они оттягивают момент истины, неумолимый и печальный. Правду о том, что ничто человеческое не вечно:

Еще раз: золотое стадо
в лазури — и свет, и цвет,
и старческая досада:
крыльев-то нет как нет!

За чувством досады спрятан «культурный слой» экзистенциальных вопросов, связанных с притязаниями человека, и все они сливаются к одному — «чего я заслуживаю»? Часто ответы на эти вопросы кроются в духовном состоянии человека. И найти причины можно, лишь тщательно покопавшись в глубинах собственной совести. Не такие уж они и глубокие... Изыщество, тонкость, с которой в тексте появляется безысходность, как бы нивелирует ее тяжесть. У Алексея Пурина все стихи такие — как будто сказка обрывается на самом интересном месте: задумываясь над основополагающими вопросами, поэт, подступая к «пределу» человеческого существования, к страшному слову на букву «С», избегает называть ее по имени. Тем более, размышлять о том, что ждет «на том свете». Это уже за границей ответственности поэта. Вот подготовить читателя к этому неминуемому переходу стоит основательно. Последние цветы перед полугодием полного отсутствия зелени — олицетворение того, что «завтра» призрачно, тревожно и вряд ли будет соответствовать нашим надеждам. Интеллигентно, порывисто поэт напоминает нам о том, что за рассветом жизни всегда наступает закат:

Завтра — дремота тлена,
плен и — в луже плевок —
крошечная Елена,
черт-те где островок.

Крах французского императора — грустная картина. Кто был всем, стал никем. Впрочем, такое прямое высказывание относится лишь к судьбам конкретных людей. Когда же речь идет о человечестве в целом, картина меняется, отражая масштаб описываемого явления. На помощь приходит развернутая метафора, лексически своеобразная, но предельно понятная. Метафизику пространства и порядка петербургский поэт воспекает опосредованно, заходя издалека:

Римские базилики с вокзалами
схожи — так же людно, тот же гул
вызван понаехавшими галлами,
на баул сменившими аул, —
даками, и готами, и гуннами...
Или здесь отъезд в иную даль —
вздохи под пролетами чугунными,
рельсов ускользающая сталь?

Первое существительное, которое приходит на ум под статью определения сущности упоминаемой эпохи, наиболее характеризующее «римский» период истории Древнего мира — «жесткость». Римляне — практики. В решении задач материальной жизни они отличались рациональностью и дисциплиной. Искусство для римлянина — это так, развлечение, легкий жанр, вот воевать или тренировать легионеров — задачи, достойные гражданина великой империи. А что есть вокзал? По сути, тот же порядок и дисциплина: расписание поездов, монотонное чередование шпал и параллельные прямые рельс, которые никогда не пересекутся. Стройная замкнутая система, близкая к совершенству. Эта развернутая метафора доставит наслаждение искушенному и образованному читателю. Но и тот, кому лень заглянуть в словарь, чтобы узнать, чем готы отличаются от гуннов, увидит здесь равновесие двух начал — шири и формы, каждое из которых ярко заявляет о себе. Восприятие города зависит от того, как сочетаются между собой полярности высокого и малоэтажного, площадей и переулков.

За пределами земной двойственности — «иная даль», в которой возможны и свобода, и непредсказуемость. Стихотворения Алексея Пурина отличаются очень четкой структуризацией пространства за счет слов, заимствованных из разных словарей и в большинстве своем неведомых массовому читателю. Текст выглядит тяжеловесным и властным, как поступь обличенного властью, то кесаря, то боярина, в отличие от того, какая лексика преобладает. Например, эта же строгость формы, некое «официальное» состояние сквозит в стихотворении, казалось бы, отвергающем статику: о стихиях, об изменчивой живой природе — предваренном эпиграфом из Г. Р. Державина «...И общей не уйдет судьбы» (почему-то так и хочется дополнить — «все там будем»):

А ты, несчастный, но счастливый,
в ответ сквозь слезы улыбнись:
ручей струится говорливый
с горы, тропа стремится ввысь;
пусть час, но лилия глядится

(ты помнишь!) в девственную гладь —
и шумно вспархивает птица...
Все знать — и ничего не знать!

А это уже Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю». Античная философия и мифология в творчестве Алексея Пурина занимают значительное место. Внутритекстовая роль эпиграфа — сделать из воздушной, легкой зарисовки стройное философское стихотворение. Завершая лирический сюжет стихотворения, афоризм дает нам понять, что автор данного текста — человек вдумчивый, и вид бегущей воды рождает у него не тягу к свободе от условностей, но понимание собственных ограничений и возможностей. Заявляя о своем незнании, человек показывает, что знает больше, чем остальные:

Что ж, гляди на закаты
да на лунную гладь, —
мир прекрасный, куда ты
норовишь? — не сдержать...
Иль закон нам не ведом,
что, не зная стыда,
нас, хоть будь Архимедом,
вытесняет вода?

И не беда, что рано или поздно все закончится. Главное, сколько жизни было в отпущенных днях. Воспоминания становятся барометром внутреннего психологического состояния: на что человек нацелен, то и «выплывает» из подсознания в первую очередь. В этом отношении весьма показательным стихотворением является «Памяти Ленинграда». Да, все меняется, но воспоминания несут в себе отпечаток нашей индивидуальности. Это точки нашей опоры в минувшем. Их не сотрешь, пока человек жив:

...Шампанское «Советское»... Ситро...
Театр, где все поддельно и пестро...
Витрины в Элизийском магазине...
Пивной ларек в промозглом серебре...
Руины в царскосельском сентябре...
Бессмертно все (спасибо Мнемозине)!

Пригвозждая к земле восклицательным знаком хоровод многоточий, автор резко возвращается из прошлого в настоящее. На самом деле всему виной наше «сегодня». Именно оно заставляет обращаться во «вчера» и учит ценить текущий момент. Обновленная книга Алексея Пурина говорит нам о том, что есть да способа мышления — страдать либо жить. Поэт воспевае жизнь, хоть и сокрушаясь о ее конечности. Красиво, ей-богу, красиво. Читаем и наслаждаемся.

Ольга ЕФИМОВА

**Пётр Гулдедава, «Дневник надежд и сожалений...» Стихи
М.: Вест-Консалтинг, 2024**

Книга стихов Петра Гулдедавы «Дневник надежд и сожалений...» состоит из двенадцати разделов, соответственно, по разделу на каждый месяц года. Сами названия разделов довольно любопытны: «Виражи марта», «Гром апрельской капли», «Ноябрьские темы» и т. д.

Перед каждым разделом стоит эпиграф, например, перед «Буйным Февралем» автор посчитал нужным поместить важные слова Преподобного Симеона Псково-Печерского:

Похвала людская, как моль
Или ржа, все изъедает

Пётр Гулдедава очень плодovit и пишет почти каждый день. Собственно, автор и сам знает о возможных претензиях к своей плодovitости:

Мне говорят: «Ты существуешь
В целенаправленном "замесе",
И потихонечку "штампуеть"
По три десятка виршей в месяц»

Но здесь же автор поясняет свою позицию, по сути формулируя собственное отношение к своему ремеслу:

Они — не выплески наитий,
А плод мучительных раздумий

Книга риторична, авторская мысль занимает в ней важное место, а само стихотворчество автор использует в роли некой психотерапии:

Стихи, по сути, — сдача крови
Для оживания эмоций.

Исходя из строк самого автора можно констатировать, что ему важны эмоции. И на уровне сильных эмоций книга весьма насыщена.

Также можно отметить некоторые наиболее запоминающиеся афористичные строки, те, в которых автор с восклицанием делает яркие заявления во весь голос:

Я слишком близко знал гримасы горя. Чтоб не ценить любой улыбки жизни.

Некоторые строки из книги Петра Гулдедавы перекликаются со словами классиков:

Наперекор непреходящим спорам
Не зря звучит народная молва.
Что лучше вспыхнуть ярким метеором.
Чем истлевать, как сорная трава.

У Сергея Есенина:

И мне — чем сгнивать на ветках —
Уж лучше сгореть на ветру.

Есть в книге строки с более явной лирической силой, как правило, это стихи, в которых автор со светлой печалью, а иногда и с некоторой долей сожаления, вспоминает свою буйную молодость, переживает о том, что навсегда утрачено. На мой взгляд, подобные строки самые выразительные во всей книге:

Я вспоминаю прошлые года.
Когда нам счастье звездами мерцало.
Когда вокруг все пело и плясало
И верилось, что это навсегда

* * *

Былой восторг отцвел и был таков.
Другой любви уже не ожидаю,
И как букеты ей к ногам кидаю
Листочки отцветающих цветов.

В целом для книги стихотворений Петра Гулдеавы «Дневник надежд и сожалений...» характерно соединение большого эмоционального накала с явной риторичностью и с чувствительной отзывчивостью на современность, в конце концов в самом названии книги заявлено, что это личный дневник. Автор делает много заявлений, затрагивает вопросы духовного характера, подробно разворачивает каждую свою мысль, рефлексировать о своем прошлом. В какой-то мере можно назвать эту книгу исповедью.

Павел ЩЕРБАКОВ

**Андрей Ивонин, «Простые вещи»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2025**

Книжная серия «Авангранды» пополнилась сборником известного московского поэта Андрея Ивонина, который назвал свою книгу, на первый взгляд, незатейливо. Он вроде бы обещает читателю произведения, над которыми не надо ломать голову, размышляя: «Что хотел сказать автор?», но описывает пространство повседневности таким образом, что мини-верлибр, взламывающий границу между искусством и обыденностью, вгоняет нас в ступор:

августовским вечером
назойливый комариный писк над ухом
ну вот
а так все хорошо начиналось

«Облом!», — так говорит молодежь. Хрупкое состояние душевного равновесия лирического героя нарушено, происходит мгновенный переход из одной эмоции в другую. Парадоксальным образом так называемая простота не так уж и проста: собственно техническая часть исполнения отходит тут на второй план, при этом стихотворению не позволено быть скучным набором слов: состояние мгновенного обрушения из медитативного состояния в колючую реальность передается нам, когда мы видим картину, что называется, «жизненную», ситуацию, в которой хотя бы раз в жизни оказывался каждый из нас (дачники и любители турпоходов обреченно вздыхают).

Сложно также дать точное определение самому существительному — «простота». В русском языке данное понятие многозначно, и не всегда звучит в положительном ключе. Есть «святая простота» и «простота хуже воровства». Между тем, гармония — это мера. Более того — идти «срединным путем» под силу не каждому, для этого нужны точные «измерительные инструменты» — поэтическое «чутье», которое не выразишь в единицах метрической системы мер:

Природа в час вечернего заката
так насеком, земноводна и перната,
что ты и сам, забыв про все приличья,
и думаешь, и говоришь по-птичьи.

Созерцание — ключик к полному слиянию с природой. Это состояние «остановки ума» запускает в человеке режим чуткого внимания к себе и бескорыстного отношения к окружающему миру. Быть простым? Насколько простым? Когда осознаешь, что «простота» и «пространство» — однокоренные слова, понимаешь лирического героя Андрея Ивонина, ему сочувствуешь и немного завидуешь, потому что в предлагаемых автором обстоятельствах может быть счастлив только влюбленный:

В два часа ночи,
у закрытого метро,
с разрядившимся телефоном,
без копейки в кармане
ловить такси,
умирая от счастья.

«Сумасшедший!», — фыркнут скептики. Да и пусть злятся, наше дело — разделить эту «немотивированную» радость. Психологи в один голос утверждают (и, если понаблюдать за людьми, мы найдем немало подтверждений), что именно простотой зрелая любовь отличается от юношеской влюбленности. Ты не думаешь, не гадаешь, а любовь ли это? Ты просто знаешь это, уверен в человеке, как в себе самом...

Но как быть, когда чувства остывают? Стоит «бороться за любовь» или смириться с неизбежным? Поэт спокойно отвечает на этот вопрос:

Чертят стрелки за кругом круг,
стрелок известна пруть.
Вот так и проходит любовь, мой друг.
Ты спросишь: что делать? — Жить.

Подобное принятие происходящего не свойственно большинству авторов. В основном, лирика угасшей любви — это мучительное сожаление о прошлом, долгое и многословное. Но мудрость не противостоит простоте. Более того, именно мудрости свойственна лаконичность — обращаясь к читателю, поэт делится с нами не только философским взглядом, но и проявляет определенную практичность: нет смысла цепляться за прошлое, или, проще говоря, «если лошадь сдохла, слезь с нее». Обращает на себя внимание образ часов как напоминание и о вечности как о понятии, неподвластном человеческому сознанию, и о быстротечности времени, под влиянием которого рушатся даже те человеческие чувства, которые считаются «вечными». Просто написано? Да. Страшно? Если вдуматься, да. И светло. И смиренно. В стихотворениях Андрея Ивонина принцип «всему свое время» распространяется как на тонкую сферу человеческих отношений, так и на природные процессы. Лирический герой не оглядывается назад и не подгоняет часы: «ах, скорей бы наступила зима!». Он терпелив. Созерцает переход от глубокой осени к предзимью и с беспристрастием натуралиста констатирует:

Еще не снег. Но копится беда
по перелескам и полям окрестным,
где с неба неизбывная вода
стекает вниз по желобам отвесным.

Где все готово для привычных нег
грядущих зим — и свадебное ложе
из стелых трав, гнилой листвы, но все же
еще не снег.

Красота простора (мы же помним про однокоренные слова?) в произведениях Андрея Ивонина дает нам предчувствие чего-то хорошего, что невозможно пощупать:

майский снег
падает
смешивается
с лепестками черемухи
яблони
вишни
через мгновение
превращаясь
в капельки воды
в слезы
о прошедшей зиме

Понятие, противоположное простоте, — «сложность». Но ведь, если разобрать это слово по составу, вытащив корень, перед нами откроется его суть — «ложь». Разве можно создать что-то хорошее, если кого-то обманываешь?.. Поэзия, как показывает нам Андрей Ивонин, должна раскрывать самые высокие темы не «возвышенными» оборотами. Будничные, разговорные слова не только не снижают «поэтизма» картины, но придают стихотворению особую теплоту. Между тем, легко читаемое не равно легко написанному. Кто знает, сколько черновиков исписал поэт, чтобы донести до нас эту светлую грусть? А ведь кажется, будто он особо и не старался — просто подметил момент, сели и на одном дыхании написал верлибр, в котором услышишь отголоски японской классической поэзии. Остаться верным простоте — значит видеть мир без прикрас, иллюзий и домыслов. И как тут не вспомнить мудрую мысль святого Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов по сто, а где мудрено, там ни одного»?!

Ольга ЕФИМОВА

Тираж 500 экз.
Отпечатано
в ООО «Вест-Консалтинг»,
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12.